

Юрий
Манаков



ТАЁЖНЫХ КРЯЖЕЙ РОДНИКИ

Повесть

Николаю Петровичу Герасимову

Часть первая ЗИМОВЬЁ

1

Журчала речка через долину между двух бережков: высокого, обрывистого, с осыпающимся дёрном и ромашкового, лугового, с толстой и коряжистой ивой-вековушей посредине да россыпями цветных камешков по плёсу. А к ясноглазой и говорливой речке с загадочным названием Топкуша вдоль русла прижималась, сползала деревня; её пятистенки и огороды были стиснуты двумя протяжёнными отрогами.

Левый – крутой, округло ошетинился в небо зелёными и зазубренными стрелами пихтача; а та горка, что справа, была сравнительно покатой, с двумя густыми перелесками, пространство между которыми всё заселено дикой непролазной акацией, колючим шиповником и черёмухой. Вдобавок правая гора рассечена асфальтовым полотном междугороднего шоссе с кирпичной остановкой, за ней промеж пихтача виднелись могильные памятники и крашенные оградки деревенского кладбища.

Перед загогулиной поворота, с уходом шоссе на перевал, на травянистом откосе возвышался большой деревянный восьмиконечный поклонный крест. Лет десять назад его в одиночку воздвиг Никитич, белобородый кряжистый старик, дом которого располагался за речкой, ухоженным прямоугольным огородом прилегающая к изумрудной стене пихтача.

В углу огорода, ближе к бережку, стояла крепенькая бревенчатая банька. Рядом в глухом заборе калитка; за ней земляные ступеньки к Топкуше, к её заводям среди зарослей остролистной осоки и духмяной серебрящейся мяты. Каждую весну здесь пробовала проклюнуться на свет, прорасти и бесцеремонная крапива, пышная, с ядовитыми жалами, но Никитич всегда душил её в зачатке, надев резиновые перчатки-краги и вооружившись тяпкой с отточенным до блеска лезвием. Зато уж по обе стороны от рукотворных купален весь бережок устлан крапивным ковром. Излюбленное место свиноматок с их повизгивающими выводками. За-



нятно, что поросята, набегая на крапивные пастбища и от дороги перед домом, и от поляны у пихтача, никогда не пересекали пятачок и ступени за калиткой: подходили, разворачивались и обратно уносились восвояси. Известные любители поваляться в жидкой грязи, наплюхаться в тёплой воде, они ни разу не покушались на купальни, хотя те и не были глубоки и вполне бы можно в них с наслаждением побарахтаться, осыпая земляные и галечные бордюры.

Отцветало лето, с первыми морозами уходили под нож кабанчики, однако на другой год всё опять повторялось. Свиньи по деревне, как это принято испокон веков, паслись вольно, где им вздумается, рыли корни, щипали крапивку, сочный осот, истекающий белым соком молочай и прочую сладкую растительность. Валялись в лужах, в жару забредали на перекатах в Топкушу, но ни разу не пересекли спуск от бани к речке, словно его, как узкий коридор, огораживал по обе стороны невидимый прозрачный заплот: подойдут, похрюкают и убираются прочь. И так из лета в лето, из поколения в поколение.

То же случалось с местными коровами и лошадьми, иногда забредающими на этот заговорённый откос в зазимки, в знобкую пору, когда уже распущено стадо и не сегодня завтра скотину определяют одну на мясо, другую в хлева на постой. И лишь бестолковая птица, вездесущие куры да надменные и горделивые гуси, бывало, пересекали коридор, однако и они, как подметил Никитич, не было раза, чтобы не захлопали крыльями, приседая и вытягивая шеи. И если курицы только перебежали поперёк ступенек из зарослей в заросли, то белоснежные гуси, попадая сюда, степенно разворачивались и, переваливаясь с боку на бок, шипя, лапчато спускались к темнеющим заводям, чтобы погрузиться в них и своими сплюсненными серо-жёлтыми клювами поворошить земляные стенки, выискивая аппетитных червячков и личинок, а то и нырнуть длинной шеей на глубину за снующими мальками и другими донными обитателями этих купален. Но Никитич не позволял гусям разгуляться в своей вотчине, хворостиной прогонял пернатых незваных гостей, брал подборную лопату, поправлял и углублял осыпанные купальни.

Деревеньке было без малого двести лет. Первые избы рубились как охотничьи зимовки. Место выгодное и добычливое. Не потому ли через короткое время берега речки обжились новосёлами: предприимчивыми кержаками, из тех, кто надумал испытать судьбу в таёжной глухомани у прозрачных истоков Топкуши, что выбегала из этих теснин и журчала по извилистым логам между окладистых сопок. Вволю попелгав, через полтора десятка вёрст речка говорливо сливалась с порожистой Убинкой, неподалёку от поскотин двух старообрядческих сёл – Секисовки и Быструхи.

Любопытна история и самих этих селений. Во второй половине 18 века, после присоединения Польши Екатерина Вторая ничтоже сумняшеся взяла да и переселила в дремучие предгорья Алтая из бывшей Речи Посполитой бежавших в неё при Петре всех православных «древлего благочестия». Окружили войсками цветущие деревни в Белой Церкви и на Ветке, похватили людей, погрузили в телеги и старых, и малых, кто в чём был и что успел в спешке бросить в мешок, и скорбными многотысячными обозами через всю матушку-Россию под бдительным оком стражников наладили в Сибирь.

Горька судьба переселенца, особенно когда на месте прибытия в лютую стужу и сугробах до небес приходилось устраивать свой быт, а из подходящего инстру-

мента одна лишь лопатка, пила-двуручка, заступ да старенький топорышко, а семей горемычных до сотни. Помёрзли бы здесь, окочурились до ледышек староверы, кабы не дух непреклонный да не единовверцы поморского согласия, что столетием ранее обжили недалёкие ущелья и распадки.

Прознав о прибывших, прикатили по твёрдому чарыму заросшие до самых глаз густыми бородами мужики на розвальнях с притороченными позади подсанками, нагруженными доверху деревянными лопатами, пилами-лучками, топорами и прочим крестьянским инвентарём. Пособили претерпевшим от нечестивой власти скарбом, домашней утварью, житом. Растолковали, как вернее брать обильного здешнего зверя и нагулявшую с осени добрый жирок птицу, добывать из-под льда на быстрине хариуса и царского тайменя, а по затонам – налимов, щук, окуней, чебаков и прочую речную мелочь. По весне снабдили сохами да бородами.

И потекли таёжные годы в истовой молитве и непрестанных трудах.

Трезор, помесь лайки с дворнягой, лохматый, со стоячими ушами, выбежал из подворотни и с разбегу торкнулся тёплой и влажной мордочкой Ванюшке в голое загорелое плечо, едва не повалив того наземь.

– Трезорка, не лезь! Уши оборву! – отталкивая пса и подражая деду Зене, звонко прикрикнул шестилетний мальчуган, поправил сползшую лямку майки и замахнулся ручонкой в щыпках на радостно прыгающего рядом друга. – Ишь мне – герой! По ошейнику заскучал?

– Не строжись, внучок, – вышедший из ворот седобородый, сухой и неказистый древний старик улыбнулся благодушно: – Вишь, как Трезорка тебя любит! Он ить, простодырый, лукавить-то не больно может. У его душа вся в повадках проглядывает.

– Ты же сам, деда, сказывал, что с имя надобно строже.

– А ты, внучок, чередуй ласку да спрос. Зверь энтó понимает, – дед Зена привлёк к себе внука и потрепал по льянному пушку на затылке. – Ступай за мной, проведем клубнику на Князьем седёлке, поди уж отоспела. Наешься от пуза, – и старик протянул Ванюшке плетёное из ивовой коры ладное лукошко.

Каменистая дорожка, обросшая по краям вьющейся гусиной травкой, поднималась полого вверх по переулку, чтобы от заплота Зубовского подворья круто уйти в пихтач, за вершинками которого угадывался зелёный островок клубничного лужка. Однако дойти до леса ягодникам не довелось. Из проулка как ошпаренные выскочили два Ванюшины сверстника – Минька да Лёнька и едва не сбили с ног сухонького старика, шедшего впереди.

– Чё энтó вы, пострелята, как с цепи сорвались? – поймал в свои жилистые руки перепуганных до смерти ребятишек невозмутимый старик.

– Там... там под мостом...

– Чё там, под мостом?

– Змеи, целая куча...

– И все так шипят!

– Под каким таким мостом-то?

– Под Зимовским, деда, у поскотины...

Дед Зена постоял, покряхтел да повернулся обратно к дому, коротко из-за плеча бросив мальчишкам: «Обжидайте! Надобен струмент». Пока он ходил, Минька и Лёнька отдышались, первый испуг от встречи со змеиным клубком

истаял, и теперь они, как, впрочем, и Ванюшка, сгорали от любопытства и нетерпения: что же сделает дед Зена, про которого в деревне знали, что он умеет заговаривать змей.

Спустя какое-то время старик вернулся, неся в правой руке метровую черёмуховую рогульку и бормоча себе под нос то ли молитву, то ли заговор, однако, сколько ни напрягали слух, слов мальчишки разобрать не смогли. Дедова рогулька, лёгкая и прямая, Ванюшке была хорошо знакома: она стояла в сенях, в простенке у чулана. Но мать и не так давно приехавший с войны отец ещё по весне ему строго-настрого наказали никогда не брать эту палку в руки. Папка тогда ещё пошутил: «А то смотри, ужалит!» И смышлённый парнишка всегда обегал её стороной. Мало ли чего в ней под шершавой корой пряталось! А вот в дедовых руках эта палка сейчас гляделась вовсе и не страшно: ведь его деду уважал даже и колхозный жеребец Грозный, рослый коняга, который на всех шибко лягался, а зимой даже сбросил с себя в сугроб хмельного бригадира-матерщинника и так потоптал задними копытами, что мужик с неделю, трезвый и притихший, ходил по деревне с синяками. Ванюшка сам видел, как деда с недоуздкой подступал к Грозному, а тот, смирённый, наклонял косматую гриву, давая накинуть ремешки себе за голову и стянуть петелькой на шее.

– Ведите, пострелята, к вашей напасти.

Голос у деда Зены был спокоен, только чуть надтреснут, но это, скорее всего, от возраста – древней Зиновия Трофимыча в деревне человека вряд ли отыскать: ему давно уже за девяносто. А вообще-то Ванюшке он приходился прадедом – но кто бы сказал мальцу об этом, вот и привык тот обращаться не иначе, как и вся деревенская родня: деда Зена или ещё проще – деда.

Старик поравнялся с поджидающими его мальчишками.

– Тока без меня не бегчите, ступайте шагом, босы ноженьки жалеючи.

Скоро дошли они до приречной полянки. И здесь резво бежавший впереди с закрученным крючком пушистым хвостом Трезор вдруг ни с того ни с сего остановился, упёршись лапами в дорожную пыль. Ребятишки с изумлением увидели, как пёс не только прижал свой хвост к подхвостью, но и даже спрятал его под себя вдоль живота, чуть ли не до серой шерсти под мощной грудью, словно стараясь прикрыть и защитить редко опушённое брюшко своё от чего-то чрезвычайно опасного.

– Марш за спину, пострелята! – скомандовал заметивший это дед Зена. – Теперь ни шагу от меня! – и старик предупреждающе поднял свободную левую руку, а правую, с черёмуховой рогулькой, вытянул перед собой, делая при этом медленные круговые вращения и опять что-то бормоча и поминутно сплёвывая по сторонам.

Сейчас голос старика звучал хоть и не громко, но было в нём нечто завораживающее и пугающее одновременно. Однако слов, как и давеча у калитки, ребятам было не разобрать.

Между тем дед, неслышно ступая по траве, приближался сбоку к мосту. Снедаемые любопытством мальчишки с опаской следовали позади. И вот уже и им открылась береговая кромка у пробегающей воды под бревенчатым сверху настилом. Косые лучи утреннего солнца падали на чёрный и блестящий клубок шевелящихся ужей. Отдельно вытянулась на влажном песочке во всю свою полутораметровую длину толстая, в объёме с кулак взрослого мужика, ужиха, с

седой гривой мха на слегка сплющенной голове и двумя огромными жёлтыми заклёпками по бокам выше глаз. Змея лежала неподвижно, нежась в солнечных лучах, но при виде приближающегося деда мгновенно собралась, стянув панцирные кольца, и хотя заметно уменьшилась в размере, зато стала ещё толще.

Легко оторвав тулово от песка и покачивая головой с раскрытой пастью, в которой угрожающе вибрировал раздвоенный язычок, а во влажных уголках по-сверкивали клыкастые зубки, змея устала немигающими бусинками ледяных глаз на людей. И в один миг эта ужиха, видимо, мамка всех клубящихся тварей, вдруг превратилась для мальчишек в кольчатую, хотя и вроде бы отрубленную, но живую голову Змея Горыныча. Взгляд её не предвещал ничего путного, и поэтому друзья, не сговариваясь, невольно попятнулись назад, к дороге. А дед наоборот – смело ступил навстречу змеям, в трёх шагах от них остановился, всё так же выписывая таинственные круги черёмуховой рогулиной перед собой и что-то страстно проговаривая.

Мальчишки не поверили своим глазам, когда увидели, как упругий змеиный клубок, лишь только старик поставил палочку в самую гущу его, словно взорвался, уж разлетелись по сторонам и тут же принялись вяло расплзаться. Но все в одном направлении – к речке, где, подхваченные течением, вскоре исчезали в волнах. Дольше всех держалась толстая мамка ужей. Но вот и её ледяной взгляд потух, она со стуком уронила голову на мелкую гальку и вытянулась в предсмертной судороге. Дед Зена подошёл к рептилии, поддел её своей рогулькой и с трудом столкнул в пробегающую воду. После этого двумя перстами истово трижды перекрестился. Подбежавший первым Ванюшка обратил внимание на то, что морщинистое лицо дедушки стало каким-то землистым, а взгляд пустым. Он схватил старика за рукав рубашки и затеребил.

– Деда, деда, а ты куда ужей отправил? Они оживут? Вернутся?

– Таперь уж, внучок, навряд ли. Я направил этих змеюк к ихнему царю. Пушай ему послужат.

Старик, приходя в себя, привлёк правнука к своей впалой груди, опять, как и давеча, потрепал по белобрысому пушку и, вздохнув, добавил:

– Негоже, чтобы столь их обиталось у человека под ногами. Ужалят, пусть и не до смерти, однако ж нарывов не избегнуть, особливо вам, пострелятам босоногим.

– Деда, – насмелился спросить Ванюшка. – А того ужика, что у нас под баней живёт, ты не убьёшь?

– Ни в коем разе, внучок, – старик погладил мальчишку жёсткой ладонью по льянной макушке. – Он ить у нас навроде как на службе приписан: мышей прибирает да всяку мошку с комаром имат. Пушай живёт. Ты, Ванюша, молочка-то ноне ему в блюдечко подливал?

– А как же, деда! Он меня каждое утро под крылечком стережёт: когда я принесу.

Вечером, по закату, у околицы бабы и ребятишки по обычаю ожидали стадо, чтобы разобрать своих коров. Разговор, конечно же, вертелся вокруг давешнего происшествия у моста. Женщины хвалили деда Зену, радовались, что только в ихней деревне есть такой вот необыкновенный ведун. Мать Ванюшки, Анна Сергеевна, стояла с сыном в сторонке и помалкивала.

Вдруг тётка Дуся, занозливая и вечно всем недовольная вдова-солдатка, перекивая говорящих, оборвала:

– И чё это вы всё: Зена да Зена! Дедок просто согнал палкой зазевавшихся ужей в речку, а вы здесь людям все уши прожужжали. Прямо спасу нету. Давайте уж об чём другом побалакаем.

– Ты бы, соседка, язык-то придержала, – негромко, но услышали все, оборвалась к тётке Дусе Ванюшкина мать. – Перечить тебе, Евдокия Платоновна я не собираюсь, однако, чтобы ты уразумела, о случае прошлогоднем обскажу. Ванюшка мой не даст соврать.

Мать ласково притянула засмущавшегося сына к себе и начала:

– В июле, как дали нам покос под Лизвоихой, я с утра по зорьке была там. Трава высокая, росистая, коси себе да коси. Раза три коснула – змея. Ещё прошла пяток разов – опять гадюка, и ещё одна, другая. Вся трава кишит ими. Я литовку бросила в межу да убежала. Деда Зена во дворе встретил: чего, мол, ты, сношенька, така испужена? Почто покос бросила? – Да гадюки, говорю, деда, едва не пожалили! Насилу ноги унесла! А он мне: ступай, мол, место укажешь. На покосе деда Зена обошёл по меже вокруг, что-то нашёптывая да сплёвывая по сторонам, и палочкой своей травку то влево, то вправо раздвинул. Потом вернулся ко мне: дескать, завтра, Нюра, иди – коси. Наутро мы с Ванюшей, одной-то боязно, пришли на покос, а там змеи мёртвые, пасти раскрыты, валяются, одна на кочке, другая на кустике, а которые и в меже. Помнишь, сынок?

– Как же, мама! – мальчику было хоть и непривычно всеобщее внимание взрослых, но та правда, о которой только что рассказала мать, важнее, и поэтому Ванюша громко и с вызовом зачастил: – Мы тогда с мамой до самого обеда вилами и палкой стаскивали гадюк в одну кучу. Я сначала пужался, а зато потом даже и по две мог притащить. Скажи, мам?

– Всё верно, хвастунишка ты мой маленький, – мать опять прижала Ванюшу к цветастому подолу. – Так вот, бабоньки, оно и было. Скажу только, что за весь покос, когда сено гребли в копны и метали стога, больше не встретили не то что гадюки, но и ни один уж не заползал на валки погреться на солнышке. Потому, Евдокия Платоновна, разговоры твои на пустом месте...

– Пусть так, – тётка Дуся упёрла пухлые кулачки в складки блузки повыше суконной юбки, постучала оземь стоптанным каблуком старенького сапожка. – А ты почто, Нюрка, в снохи к деду Зене себя записала? У его ведь, известное дело, в снохах Прасковья, матушка твоего Никиты. И не тебе бы набиваться...

– А кто ж я, по-твоему, ему, как не внучатая сноха? Ты бы, бабонька, лучше в своей родове рыскала, а к нам не лезла! Пойдём, сынок, на бугор. Оттуда дорога видней.

Когда Ванюша подгонял прутиком степенную Зорьку, а мать по муравке поспевала на полшага позади, вышел из приречного проулка Степан Дубровин с удочкой в одной руке и сеткой, полной серебристых чебаков, в другой и поравнялся с ними.

– Доброго здоровьица, Сергевна!

– И тебе, Ляксандрыч, не хворать! Вижу, не зря сходил на Топкушу.

– Поди отсыпать на уху?

– Не утруждай себя, соседка: мой Никита нонешнюю ночь лучить тайменя наладил. А он, знаешь же, порожним с реки сроду не возвращался.

– Ты ему, Сергевна, обскажи, ежли он вниз наладится: по берегам дохлых ужей пропасть валяется, чтоб ему впотьмах не оскользнуться на их. С утра так поплыли, что я чуть было удочки не смотал. Некоторые, правда, оклемались и по кустам расползлись, а вот здоровенный ужище проплыл белым брюхом кверху, дак тот был совсем без всяких тебе признаков. Чё у вас здесь стряслось?

– Да дедушка Зена из-под зимовского моста прогнал змеюк, чтобы они ребятишек не покусали.

– А-а! Тогда понятно...

Пологие берега таёжной речушки Таловки, огибающей отроги Коженихи, каменисто белели. Плоская и овальная галька на плёсе прохладно щекотала ступни и щиколотки худых Ваниных ног. Дед Зена метрах в семи позади на осыпистом обрыве обирал рясные кусты малинника. А шустрый внук, только что разглядевший зоркими глазёнками на той стороне заросли чёрной, с поблёскивающими на солнышке спелыми кистями смороды, надумал перебраться туда. Дно в прозрачной воде просматривалось хорошо и казалось неглубоким.

Мальчишка, нащупывая пальцами ног, куда удобней ступить, всё дальше заходил в несущуюся, поигрывающую лёгкой волной речку. Вода снизу подбивала под колени, но сорвать и увлечь Ваню по течению ей не доставало сил. Мальчик ещё не научился плавать, но, прикидывая на глаз, он полагал, что глубина здесь самое большее – по шейку, и уж он-то точно не подведёт дедушку Зену и покажет, как умеет справляться с рекой. Зато когда перебредёт обратно с полным туеском сладкой смороды, дед его наверняка скупно похвалит, а об ином мальчишка и не мечтал.

Он уже пробрёл середину реки, волна подплёскивала подмышки, пятками ступал по уложенным мозаикой камешкам, и теперь бы пора выходить из воды, как вдруг Ваня провалился в донное углубление и ушёл с головой, одна лишь стриженная макушка осталась на воздухе. Мальчишка хлебнул с перепуга водички, подавился, но тут же сомкнул губы и перестал дышать носом, при этом всё так же продолжая идти под водой вперёд, только глаза закрыл. Через несколько шагов почувствовал, как лёгкая волна бьёт сначала в щёку, потом сбоку в кадык, и он разомкнул мокрые веки. Судорожно хватил воздуху и осмотрелся. До берега было всего ничего.

Выйдя на плёс, Ваня оглянулся на ту сторону, к деду. Малинник оказался пустым, дед Зена куда-то исчез. Первой мыслью было: вот беда, дедушка-то и не увидел, как я справился. А сказать – отмахнётся: шуткуешь, мол, внучок, ой да как брешьешь!

Ваня если и огорчился, то на минутку, пока выбирался с берега к роскошным зарослям отоспевающей смороды; а как застучали ягодки по дну туеска, мальчуган так повеселел и увлёкся, напевая себе под нос какую-то детскую песенку, что даже вздрогнул от неожиданности, когда над ним раздался надтреснутый голос старика:

– Живой, внучок? Так от и надобно...

Ваня поднял глаза: над рифлёными пахучими листьями смородины возвышалась косматая голова деда Зены в причудливой шляпе.

– Я-то думал – утопнешь. Но, чую, сила в тебе есть. Глянь-ка мне в очи!

Ваня смело посмотрел в ошетинившееся густыми бровями сморщенное лицо деда. Глаза старика были темны и бездонны, они словно завораживали мальчишку.

– Деда, а ты почто так смотришь?..

– Судьбу твою гадаю, внучок...

– Как так?..

– Ведаю, упряма ты. На своём всю жизнь стоять будешь. Однако ж – это хорошо для тебя.

– Деда, а как это – стоять на своём?

– Быть человеком...

– А теперь-то я кто?

– Покуль рядышком, внучок, коло порога ишо, – усмехнулся дед Зена в седую бороду. – Дай-ка, ишо разок гляну в очи твои отроческие.

Ваня прямо посмотрел в глаза деду.

– Вот и ладно. Напослед скажу одно: силу свою береги, не разбрасывайся.

Мальчишка не понял ничего из дедыных слов, но, чтобы порадовать старика, поднёс ему под самую бороду туюсок с упругой ягодой.

– Деда, вон я сколь набрал смороды! Поешь...

– Есть в тебе сила, однако, есть, – раздумчиво молвил дед Зена, прихватывая заскорузлыми пальцами смородину из Ваниного туюска. – Чую надёжу...

Подвижная поверхность прозрачной воды преломляла прямые солнечные лучи и веером рассыпала их вглубь по затону Топкуши. Мокрая разноцветная галька на отмели поигрывала радужным светом. Ванюша с соседскими мальчишками снимали с себя выцветшие майки, завязали узлом верхние лямки и теперь бродили по реке и заводили. Рыбалка удавалась: на куканах под берегом трепыхалось с десятков пескарей и чебачков, а на Ванюшином только что заснули два небольших хариуса.

Белобрый и худощавый Пашка Нечунаев, старший среди рыболовов – ему в апреле исполнилось целых девять лет, выбросил скомканную майку на прибрежную траву и теперь бродил по мели, осторожно выворачивая плоские камни, чтобы успеть схватить за жабры вжавшихся в песок длинных и скользких пятнистых гольянов.

– Братик, Павлуша! Там нашу мамочку уведят! – на другом, обрывистом, берегу стояла босоногая Манька, девочка лет шести, в ситцевом платьишке, с жидкими косичками, прихваченными резинками вместо бантов. Стояла и растирала грязной ладошкой слёзы на шелушащихся от загара щёчках. – Тётъ Наталья наказала тебе сказать. А то не успеешь...

От неожиданности Пашка выпустил из рук крупного гольяна, тот с плеском плюхнулся в воду, и только его и видели. Однако к этому времени мальчишка уже перебежал по шиверку через речку и карабкался по откосу к сестрёнке. Она всё так же стояла босая на муравке и тёрла кулачком заплаканные голубенькие глазки. Пашка на ходу подхватил Манькину свободную руку, увлекая сестру за собой, и вскоре они скрылись в ближайшем проулке. Не сговариваясь, малышня перебрела следом, неся под мышками неотжатые майки, и каждый со своим куканом. А Ванюша прихватил ещё и Пашкин прутик, на котором болтались три пескаря. Про оставшуюся на траве мокрую майку никто почему-то и не вспомнил.

Земляная дорожка в проулке была некрутой, а мальчишки резвы на ноги, и потому перед выходом на широкую деревенскую улицу они без труда нагнали Пашку и Маньку и босоногой ватагой заторопились навстречу толпе взрослых.

идущих вниз, к сельсовету от избы Нечунаевых с нагорной окраины Зимовья. Впереди с двумя суровыми милиционерами по бокам шлёпала по пыльной дороге босыми ногами, с трещинками на тёмных пятках, простоволосая Пашкина мать Варвара Петровна. Из-под нижней простенькой юбки виднелись крепкие молочные икры; верхняя же сатиновая юбка у женщины была подоткнута к поясу так, что передник представлял собой нечто напоминающее детский сачок – из него топорщились в разные стороны тугие пшеничные колоски. На груди у арестованной поверх ситцевой блузки висел широкий лист фанеры, на нём большими неровными буквами было что-то намалёвано.

– Во-ров-ка, – по слогам прочитал окончивший нынешней весной первый класс конопатый Минька и виновато скосил глаза на Пашку.

Тот никак не отреагировал на сказанное, а только крепче сжал губы, всё так же держа в своей ладони худую ручку сестрёнки. Но вдруг он отпустил её и сломя голову помчался к безучастной ко всему матери. Милиционеры не успели ничего сделать, как мальчишка, раскинув руки, уткнулся лбом женщине в подол, едва не сбив её с ног. Несколько колосьев выпали на землю. Толпа невольно замерла на месте. Подоспевший усатый милиционер обхватил Пашку за голые острые плечи и попытался оторвать от прижавшей его к своему животу и разрыдавшейся на всю улицу Варвары Петровны. Шедшие следом люди отвели глаза, многие отвернулись и опустили головы. Наконец усатый смог оторвать вцепившегося намертво в мать Пашку и молча отвёл мальчишку к обочине.

– Ты что, сопляк, в кутузку захотел? – это замешкавшийся где-то в толпе оперуполномоченный, розовощёкий толстяк, во френче и коричневой фуражке, визгливо набросился на Пашку. – Щас оформим змеёныша!

– Дак он ить малец ишо... – робко раздалось из толпы.

– Кто это здесь сочувствующий врагам народа? А ну покажись!

Мужики и бабы, старики – все опять опустили глаза долу.

– Я заберу его?.. – просительно обратилась к оперуполномоченному выступившая вперёд сухонькая, с выцветшими голубыми глазками старушка в тёмном платке. – Тётка я им. Мальчонка не в себе. Отведу, напою отваром пустырника. Дозвольте, товарищ командир?

– Тамбовский волк тебе товарищ, кулацкое отродье! – раздражённо буркнул толстяк, зачем-то потёр пухлыми пальцами свой жирный загривок. – Пока что забирай. Недосуг мне заниматься этим выблядком: в район срочно вызывают. А ты – завтра придёшь к председателю оформить бумагу. Возьмём твоего щенка на учёт, – и, повернувшись к милиционерам, бросил: – Ну, что рты раззявили! Ведите арестованную. Машина заждалась!

Вечером того же дня, ещё засветло, на завалинке за избой Ванюша выстуригал из толстой палки меч, чтобы завтра на полянке сражаться с Минькой и другими мальчишками. Оставалось закруглить рукоять и нарезать на ней засечек, чтобы меч не соскользнул из рук, и тут он услышал разговор отца и матери, вышедших из дома и присевших на лавочку у стены за углом.

– Загремела Варварушка под фанфары, – глуховатым басом начал отец. – Это какая же скотина донесла?

– А кто тебе теперь скажет? Такие дела делаются по-тихому. Как деда Зена говорит: кто украл – один вор, а у кого украли – все кругом воры. Думай на всякого.

– Доброго здравия хозяевам! – раздалось от калитки.

Ванюша без труда узнал голос Минькиной матери, чья изба находилась через двор.

– И тебе, Лидуня, не хворать! Заходи на огонёк. Подвинься, Нюра, соседке.

– Новость-то слышали?

– Про Варвару?

– И про неё тоже. Открылось, кто донёс. Лёшка Бояринов. Мать его, Степанида, в сельпо проболталась, когда из-за очереди с Дуськой собачилась. Осерчав, пострачала, что и той не сдобровать, ежели до ейного сыночка чё дойдёт...

– Постой, а ихний сыночек – не тот ли конопатый парнишонка, что на косилке у вас нонче робит?

– Он самый.

– А почто он эдакое сотворил?

– Дак Варвара же вдовая. Вот к ей Игнат-то, отец его, нет-нет да и похаживал. А в ём и выиграла обида за мать. Он как-то же увидал, что Варвара пшеничные колоски прибирает – и к бригадиру, а тот, пьянь беспробудная, донёс уполномоченному. И закутилась карусель.

– От гадёныш... Ребятишек-то куды теперь? – вздохнула Анна. – В детдом, небось, определят...

– Тётка Наталья сказала – не отдаст. Себе заберёт.

– А с избой как же? – спросил отец. – Без пригляда жильё долго не продержится: обветшает, сгниёт да порассыплется.

– Дак тётка Наталья обсказала, что детишки останутся в материной хате. Её-то изба наискосок по переулку. Говорит, буду жить на два дома. А, дескать, как уляжется всё, пойду у колхоза помощи просить на детей.

– А что? Дело говорит Наталья. Я думаю, Аннушка, другой раз и мы подсобим сиротинушкам.

– Какой разговор, Никита! Одним миром живём.

– Ваньша, бежим япошков последний раз глядеть! – рыжая Минькина голова просунулась в приоткрытую калитку. – Их за оградой строят. Погонят через Княжью гору в Черемшанку к паровозу. Батя сказывал: повезут на рудники в Лениногорск. Насовсем от нас...

Когда запыхавшиеся мальчишки вскарабкались на щебнистый бугор на южной окраине деревни, панорама сверху открылась необычная. В продольном логу, стиснутом с двух сторон скалистыми утёсами, обросшими пихтачом, располагался лагерь военнопленных. Глухой заострённый забор из частокола с колючей проволокой поверху; по углам четыре вышки, внутри два ряда одноэтажных барачков. Высокие ворота вахты распахнуты настежь. Оттуда по укатанной дороге растянулась колонна маленьких человечков в серых френчах и примятых цилиндрических фуражках с козырьками. Шли они повзводно правильными строевыми квадратами, впереди каждого каре – подтянутый офицер из пленных же, со стеклом в руках. Конвоиры с автоматами наперевес шествовали по бокам колонны.

– Вишь ты, какие дисциплинированные! – раздался бас позади мальчишек.

Ванюша от неожиданности даже вздрогнул, а Минька уже искал глазами: куда бы порснуть с этого голого бугра.

– Папка! А мы за самураями ведём наблюдение!

– Вот и я, как услышал во дворе твоего дружка, тоже решил глянуть на узкоглазых.

Видно было, что Никита Иванович не вспотел и дыхания не сбил, поднимаясь по крутой тропинке: сказывалась закалка четырёх лет войны.

– У их, сынок, не все самураи. Только вон те, которые с бамбуковыми прутьями в руках. Они – белая косточка: вишь, и в плену не вкальывают, как остальные, а наоборот – следят за своими же. И лупят, как сидоровых коз, ежели кто отлынивает. Теперь вот в город – поближе к шахтам. По той дороженьке, которую сами булыжником и намостили.

– А мы с Минькой по ей на Берёзову гриву за колбой весной бегали.

– Да, дядя Никит, там ещё чеченят на болоте видели: тоже черемшу на кочках драли.

– Не обидели вас?

– Не-а! Мы за кустами спрятались, а они, долгоносые, мимо ушли.

– Вы с имя аккуратней: народ ненадёжный...

2

– Но ведь нету их...

– Кого их?..

– Ну их, которых нету...

– А-а!

Проходя по школьному коридору и услышав этот разговор третьеклашек Вани Еланцева и Лёни Зубова, учитель начальных классов Николай Фёдорович Халтурин усмехнулся:

– Логика железная!

Мальчишки, ничего толком не поняв, заробели и посторонились к зелёной окрашенной стене, пропуская учителя: они знали, что Николай Фёдорович – суровый волгарь, фронтовик с изуродованной скулой, и это порой затрудняло его речь – просто так на перемене с учениками не разговаривал, а если только необходимо было одёрнуть кого или сделать замечание.

– Ну-ну, не робей, молодёжь, – сильно окая, продолжил учитель. – Это я больше для себя. А вы-то бегите, куда звонок не прозвенел, ищите своих товарищей. Но только чтоб на урок мне не опаздывали!..

Николай Фёдорович прошёл в конец коридора в свою каморку с обитой дерматином дверцей, приютившейся в простенке рядом с просторным входом в мастерские. В этой каморке при школе учитель и жил с женой и двумя ребяташками. Примыкающее задней стеной к мастерским учебное помещение предназначено для занятий одновременно двух классов: третьего и пятого. Перегородок никаких не было: ряд парт вдоль внутренней стены с наглядными пособиями, ряд – вдоль окон с двойными рамами. По бокам от широкой классной доски – портреты Пушкина и Толстого. Причём взгляд у кудрявого Александра Сергеевича открытый и приветливый, а у Льва Николаевича густые брови сердито сдвинуты, огромная бородаща угрожающе торчит, а сам писатель в любой момент готов зычно рявкнуть прямо со стены: «Тихо, шалопаи! У меня не забалуешь! Вмиг определяю на конюшню выпороть!» Поэтому ученики, если выпадала минутка, смотреть любили в тот угол, где приветливый Пушкин, а вот в сторону Толстого поглядывали с неохотой. Хотя рассказ «Филиппок» школьникам нравился, в нём

было всё понятно и говорилось прямо как бы про ихнюю деревню. Но всё равно сказки Пушкина ребятишки любили больше, а четверостишье «Зима. Крестьянин, торжествуя...» так вообще многие знали наизусть.

В середине апреля третьеклашкам задали прочитать с выражением пушкинскую сатирическую «Сказку о попе и его работнике Балде». Ванюша прочитал всего несколько раз и быстро запомнил почти весь текст. На уроке, отвечая, мальчишка так увлёкся, декламируя и в такт размахивая рукой, что учителю пришлось остановить художественное чтение подростка: «Не ожидал... Молодец, Иван! Садись. Ставлю тебе твёрдую пятёрку».

Окрылённый успехом, Ванюша два вечера корпел в закутке за печкой и сочинил стих про председателя колхоза Забилова, что, заломив кубанку на затылок, щеголял по деревне в полувоенном кителе, синих галифе и белых бурках с начёсом, а вот на поля выезжал редко да и в коровники заглядывал от случая к случаю. Ванюша сам однажды подслушал ненароком, как взрослые с досадой говорили меж собой, что, дескать, председатель давно уже предпочитает не работу, а пьянку с разбитными бабёнками да махнувшими на себя вдовушками.

На следующий день на большой перемене Ванюша подошёл к учительскому столу и протянул Николаю Фёдоровичу исписанный тетрадный листок.

– Прочитайте. Я хочу отправить этот стих в районную газету «Заря коммунизма».

Учитель удивлённо посмотрел на Ванюшу, закрыл классный журнал и, взяв протянутый листок, начал читать вслух:

Кругом весенняя страда.
Пасут коров, угодя пашут.
Один Забилов никогда
Люды́м как делать не подскажет.

Он всюду ходит в галифе.
Кубанку носит набекрень.
Хотя сейчас – известно всем:
Год кормит даже один день!

И водку пьёт, и любит вдов
Ночами часто посещать.
Куда же от таких трудов
Нам председателя девать?

Прочитав, Николай Фёдорович непроизвольно потянулся к лежащим сбоку красному и синему карандашам. Синим расставил знаки препинания, а красным едва не поставил ниже строчек оценку, да вовремя спохватился, вполголоса чертыхнулся и поднял внимательные глаза на подростка.

– Пока не отправляй, а как председателя переведут от нас – тогда и отправьшь.

– Хорошо.

– Далеко, Иван, пойдёшь, ежели не остановят, – с этими словами Николай Фёдорович вернул зардевшемуся мальчишке потрёпанный листок.

Придя из школы, Ванюша едва переступил порог, как ему навстречу с лавки поднялась мать. По её встревоженному лицу он понял: что-то не так. Отец сидел за столом у окна и обедал. На сына Никита Иванович даже и не глянул. Мать долго молчать не стала.

– Ваня, ты после школы никуда не заходил?

– Нет, прямо домой...

– Тогда тащи из сумки свой непутёвый листок.

– А вы откуда знаете? – растерянно спросил Ванюша, вытаскивая из холщовой сумки и передавая Анне Сергеевне свои сатирические вирши.

– Земля слухом полнится, – горько усмехнулась мать.

Отошла к остывающей печи, прихваткой открыла дверцу, поворошила клюкой угли и бросила на них злополучный листок, который тут же вспыхнул. Быстро проделав это, уже серьёзно добавила:

– Я у сельпо Николая Фёдоровича вашего встретила. Он мне и сказал: «Нюра, Ванька чё впредь напишет – ты в печку. Воронок-то ещё ходит!».

Запряжённый Карька переминался в оглоблях, прядая мохнатыми, стоящими торчком над роскошной чёлкой ушами и поводил круглыми, внимательными глазами, чутко следя за действиями двух мужиков, укладывающих в телегу кули с картошкой.

– Ромаха, клади так, чтоб Ванюшке удобно сидеть, – поучал брата жены Никита Иванович. – Дорога-то долгая и, сам знаешь, кривая да ухабистая. Всю задницу мальчонке истолкёт.

– Всё знаю, Иваныч! Чай, не пальцем деланный... – беззаботно отмахивался шурин, пристраивая очередной куль на лежащий внизу мешок и прислоняя его к решётчатому бортику. – Глянь, как ладно вышло! Теперь племяш и захочет – не вывалится.

Спустя пятнадцать минут мужики развели тесовые створы ворот и вывели на проезжую дорогу коня с телегой. В ней по бокам лежало восемь кулей с семенной картошкой, которую по уговору везли в тайгу на пасеку к деду Митрофану менять на флягу мёда. На кулях верхом восседал Ванюша. Прикрыв ворота, мужики взобрались и уселись впереди на поперечной доске.

– Но-о! Пошёл, родимый! – причмокивая, задорно крикнул Никита Иванович, правя лошадь к проулку на окраине, откуда в гору, в пихтач, уходил просёлок в деревню Орловку, что раскинулась в двенадцати верстах по берегам Убинки, у подножия скалистого белка Орёл.

Ванюша устроился уютней на мешках, обвыкся да и давай разглядывать уходящие в небо зелёные пихты и серые полянки по бокам от колеи, с полёгшей прошлогодней травой, на которых ещё кое-где поблёскивали серпики ноздреватого снега, а в других местах белели лепестки подснежников. Сама дорога была уже сухая, хотя и не пылила ещё из-под тележных скрипучих колёс. От нечего делать мальчишка прислушался к разговору взрослых.

– Ромаха, ты знаком с Аверьяном Киселёвым?

– А как же? Встречался...

– Путь у нас неблизкий, я тебе и поведаю про случай один. Нас тогда председатель отправил пособить орловскому отделению с сеном. Мы-то своё заскирдовали, а обещались дожди, вот и бросили нашу бригаду к им. Сметали ладно, которые

в зародах, оставили в поле до зимы, другое сенцо решили вывезти возами. Нагрузили. Тронулись обозом. Первым шёл Аверьян. Конь рослый, под стать хозяину, воз самый большой. Идёт он сбоку, понукает вожжами, мы следом. Миновали Митрофанову пасеку, до Орловки осталось рукой подать, и вот она – лыбина в логу, посреди дороги. Телега и увязла. Мы сгрудились: делать-то чё? А он ладонь свою медвежью поднял, отгородился: не робей, ребята, всё слажу. Вы, мол, только Серка под узду возьмите да поддержите, а я уж сам... Зашёл к телеге сзади, подобрался ухватил за ось да и переставил вместе с копной на сухое место. Тут мы и присели: во – мужик! Апосля все по этой сухой колее провели свои возы. В деревне, как управились, председатель накрыл стол, выставил водки. Ну, мы с устатку и приняли. И тут я опять обалдел. Аверьян-то – наш герой, сам видел, опрокинул лишь одну рюмку и, ты не поверишь, упал под стол, пьян-пьянёхонький. И это при такой-то звериной силище! Сам лично относил его с мужиками в избу. Абсолютно без чувств. Утром свиделись, он малость помятый, я ему: Аверьян, не поверю, чтоб стопка тебя, как пуля, уложила. А он смеётся: у нас, говорит, вся порода такая – зелье лучше и не нюхать! Валит напрочь.

– Да у его и Анатолий, брательник, силы немеряной, а на водку слаб. Мы с им встречались на Убе, когда тайменя лучили. Понакальвали по пудику каждый, уже перед светом костёр затеяли, ушицы сварганили, разговелись. Но Анатолий не Аверьян, он, однако, только апосля трёх стопок опрокинулся навзничь в кусты и захрапел так, что хрен добудишься. Дак он ведь и младший из братьев...

– Постой-ка, Ромаха!

Никита Иванович произвольно натянул вожжи.

– Глянь-ка, что там, у поворота с горки? Никак телега завёрнутая колёсьями кверху. А конь-то в оглоблях знакомый!

– Бояриновский, Игнатов, – охотно подтвердил шурин. – А самого чего-то не видать! Небось, за подмогой в деревню подался.

– А лошадь почто не освободил, не выпряг? Вишь, оглобля-то одна обломана и хомут сбит. Чует сердце: чё-то здесь не то...

– Ванюша, сынок, пересядь к нам, – Никита Иванович обернулся к привставшему с кулей мальчишке. – Придержи вожжи, а мы с дядей Романом сходим разузнать.

Возле перевёрнутой телеги стояла мёртвая тишина, казалось, даже зазорные пичуги, что в эти утренние часы поют апрелю свои неистовые гимны, почему-то умолкли. Или мужикам стало так не по себе, что ничего вокруг они просто не слышали. Уклон просёлка в этом месте известен всем. Мало того что тут крутой поворот из пихтача, так ещё и левая обочина возвышается почти с метр над противоположной, правой, делая крен дороги опасным, и поэтому зачастую возница здесь спрыгивает, идёт по верхней кромке и осторожно ведёт лошадь под уздцы, стараясь без потерь миновать злополучный участок.

Что случилось у Игната, кто теперь скажет? И уж наверняка не он сам, лежащий сейчас бездыханный под телегой. А что односельчанин неживой, было видно по выпростанным из-под бортовой решётки, скрюченным, тёмным, в запёкшейся крови пальцам, зажавшим в предсмертную горсть желтоватый суглинок с прахом прошлогодней травы. Самого придавленного днищем Игната скрадывали два мешка, между которыми и была просунута рука; пальцы её, с выдранными ногтями, и рассматривали Никита Иванович и Роман Сергеевич. Бояриновская лошадь

понура стояла в сломанных оглоблях. Сливовые глаза прикрыты, она даже не переминалась, как обычно, с ноги на ногу, не говоря уж о том, чтобы угрожающе приподнять подкову, что всегда делают эти животные при приближении к ним посторонних. Сухая трава на стерне, в тех местах, куда лошадь могла дотянуться, выедена, выскоблена до земли, а это указывало на то, что происшествие случилось не час и не два назад, а, вполне может быть, ещё вчера, ближе к ночи.

– Сходи, Роман Сергеевич, к нам, – тихим голосом обратился к шурину Никита Иванович. – Там под сиденьем в тряпице топор – будем слегу рубить, иначе телегу не перевернуть: видишь, оси да нижний каркас железные. Тяжела, собака! А я коня освобожу. – И уже вослед уходящему Ромахе, а больше для себя, глубоко вздохнув, обронил: – Думал ли Игнат, ладя такое прочное основание, что примет смертушку от него?

Конь дал себя выпрячь из оглобель и спутать ему передние ноги. Прodelав это, Никита Иванович легонько шлёпнул широкой ладонью по крупу, отгоняя измученную лошадь вниз, на лужок пастись. Вернулся шурин с топором, и они уже наладились искать молодую берёзку на слегу, чтобы потом просунуть срубленную орясину сбоку под борта и попытаться поставить телегу на колёса, когда из пихтача сверху послышался характерный шум: кто-то резво катился в их сторону! Мужики переглянулись.

– Кого-то ещё несёт! Ромаха, беги навстречь, пока они не схлестнулись! – и горько пошутил: – А то нам одного покойника мало, чё ли?

Минут через пять из-за поворота показался крупный серый коняга. За собой он тащил порожнюю телегу с шурином и Аверьяном Киселёвым. Аверьян осадил Серка и, натянув правую вожжу, ловко приставил свой транспорт к вековой пихте, метра на три повыше места происшествия.

– Вот горе-то, мужики... – Аверьян покачал кудлатой головой. – Степаниде-то сообщили?

– Да когда? Мы только его обнаружили. Ехали с картошкой к деду Митрофану, а здесь такая оказия...

– Ну, а стоять-то чего? Надо Игнатушку доставать.

– Мы вот спроворили слегу. Втроём подналяжем...

– Обижаешь, Ромаха! Отошли бы в сторонку, мужики, от греха подале, – с этими словами Аверьян присел перед верхним бортом, скосился на мёртвые, сжатые в горсть Игнатовы пальцы, подхватил снизу боковину днища, звучно выдохнул, оторвал телегу от земли да и столкнул её за нижнюю обочину в кусты. В фуфайке и ватных штанах Игнат лежал на животе, одна рука выброшена в сторону и придавлена мешками, другая находилась под грудью, шапка валялась чуть выше головы. Когда тело перевернули и попробовали оторвать руку от отворота, то удалось это не с первого раза: окровавленные пальцы были намертво вцеплены в большую, с тёмным отливом пуговицу.

– Та-ак, понятно... – раздумчиво произнёс Аверьян.

– Чё понятно-то, Аверьян? – Ромаха сбоку глянул на богатыря.

– А то и понятно, что Игнатушка, оборвав эти пуговицы, хотел выпростаться из фуфайки, – Аверьян наклонился к покойнику, избегая смотреть на искажённое смертной мукой лицо, и начал по одной оттягивать застёгнутые пуговицы, словно проверяя их на прочность. – Да-а, Степанида пришила на совесть – выдрать их можно только с мясом, да и то, это ежели ты на открытом воздухе, а Игнат-то был

придавлен телегой. Вот кабы он сумел оборвать пуговички да стащил бы с себя фуфайку, поди бы и вылез с-под проклятущей тележеньки. – Аверьян помолчал. – Вроде и дело-то сделала угодное, а вышло вон как...

– Аверьянушка, – обратился к нему Никита Иванович. – Ты теперь уж поезжай в Зимовьё, сообщи в правление и нашим обскажи, что да как. А то мы-то гружёные, нам не с руки вертаться.

– Да, это верное дело. Я к тому ж порожний, домчу быстрехонько. А дрова обождут...

– Ну, с Богом, поспешай. Скажи там, мы на месте, но страгивать до ихнего прибытия Игната не станем.

3

Детские годы, как жарки на альпийском лугу, вспыхнут оранжевым лучистым заревом, осветят окрестные мшелые скалы, густо-зелёные ленты пихтачей, белопенные буруны черёмухи и незаметно затеряются чистыми капельками среди проросшего из лона земли цветущего ковра новых, уже взрослых лет. Будут эти последующие десятилетия и тугими, широколистными, подобно кукольнику-чемерице; будут и высокими, зонтично-раскидистыми, как душистый дягиль; либо же полого блестящими, схожими с упругой калужницей, что затеняет студёные ручьи высокогорья. Однако до той трепетной нежности и доверительной наивности, что исходят и от жарков, и от наших ранних лет, этим грядущим годам ни за что не дотянуться. И оттого душе теплей и отрадней, что отсвет самых первых детских впечатлений, словно солнечный отблеск жарков, лежит на всей нашей будущей жизни. И это необыкновенно хорошо.

Минуло две весны с того дня, когда Анна Сергеевна торопливо сожгла в печи первые поэтические опыты сына. У Вани после того случая пропала всякая охота доверять свои мысли бумаге, зато у соседа деда Поликарпа он выучился отменно играть на гармошке, и теперь ни один утренник не обходился без задорного музыкального сопровождения в его исполнении. Ещё подростку очень понравилась школьная художественная самодеятельность. Если в первом классе на новогоднем утреннике он был всего лишь длинноухим зайцем в белом костюмчике и с куцым хвостиком, то в четвёртом Ваня уже старательно косолапил по сцене в коричневом комбинезоне и со свирепой картонной маской на лице, изображая медведя. А в пятом классе, когда на День Советской Армии они под руководством Николая Фёдоровича ставили спектакль «Чиполлино», ему поручили роль Тыквы.

– Мам, а из чего можно сделать костюм Тыквы? – с порога огорошил Анну Сергеевну Ваня, ещё даже не сняв с плеча лямку холщовой сумки. – Надо для «Чиполлино» – это сказка такая про овощей...

– Как из чего? – мать улыбнулась. – Да из тыквы же и изладим. Раздевайся обедать, а отец слазит в подпол да выберет подходящую.

Спустя полчаса, сидя на лавке у печи, Ваня, высунув язык от усердия, выскабывал из пузатой светло-зелёной тыквы оранжево-волокнистую, густо усеянную крупными матовыми семечками мякоть и бережно укладывал её в глубокую миску. Мать ласково поглядывала, не мешая сыну, однако, когда вся мякоть была убрана и стенки плода едва ли не просвечивали насквозь в февральских солнечных лучах, пробивающихся в избу через оттаявшее окошко, Анна Сергеевна обратилась к сыну:

– Ванюша, давай уж дальше я сама. Примерю где надо, вырежу дырки для рта и глаз...

– Работа, сынок, тонкая, – вмешался отец, наблюдавший за происходящим со стороны. – А это, как известно, у женщин всегда лучше получается.

Ваня нехотя передал матери оскобленную тыкву и нож. Родители это заметили и быстро переглянулись.

– Ванюша, а ты сядь-ка рядом со мной. Где и поможешь...

Надувшийся было подросток просиял.

– Да, мам! Я буду держать её. Ладно?

– Вот и добро, – весело поддержал Никита Иванович. – Только, сынок, суши этот скафандр подальше от печки, чтоб от жары не потрескался и не лопнул.

– А вы-то придёте на наш праздник?

Ваня был несказанно счастлив от того, что всё у них так здорово вышло.

– Николай Фёдорович всех звал.

– Можно бы поглядеть, сынок, да работы на ферме много. Управлюсь к тому часу, непременно приду.

– А я, Ванюша, обязательно буду. Коли в десять утренник, после дойки и забегу.

– Всё, сынок, дело сделано – садись за уроки, – тон у отца был благодушным, – чтоб на празднике за тебя не краснеть.

Старый, разваленный куст черёмухи на полянке за мостом всю зиму окатыживался в небо чёрными, треснутыми от времени стволами и кривыми ветками; горопящимся мимо по тропке на ферму дояркам казалось, что следующий снегопад уж точно переломает и перекрошит в гнилую кучку всё это древесно-косматое чудище. А в мае черёмуха возьми да за два дня так преобразись, что бабы только всплёскивали руками да изумлённо качали головами. Как будто белоснежно-воздушное облако опустилось и накрыло собой половину зеленеющей поляны, и всю её затопило волнами такого пьянящего аромата, что у очутившихся здесь людей не только настроение поднималось, но и душа запевала.

По воскресеньям на полянке между черёмухой и речкой с утра и до потёмок стоял ребячий гомон: мальчишки носились казаками-разбойниками, девчонки прыгали на скакалках; ближе к закату все объединялись, вставали парами в широкий круг для игры в третьего лишнего. Не каждый день, но тоже часто играли и в «ручечку». Это когда ребята и девчата вставали опять же по двое, но только не один за спиной у другого, а рядышком и парами друг за другом; поднимая сомкнутые руки вверх, образовывали длинный живой коридор. Те же, кому не доставалось напарника, собирались у так называемого истока и, пригибаясь, двигались по этому коридору, выбирая себе пару: мальчик приглянувшуюся девочку и наоборот. Находили, брали за руку и вводили в конец «ручейка». Оставшийся одним игрок шёл к началу «ручейка», и теперь уже он нырял в коридор в поисках новой пары. Одно условие было неизменным: только что отбитую пару никто не мог снова брать за руку и возвращать себе. Это можно было сделать лишь через три круга.

Ване сильно нравилась сестра Миньки – сероглазая Светланка. Она всего на два года младше, глаза большие и ясные, русый вьющийся волос аккуратно заплетён в тугую косу, а золотистый завиток у высокого лба придавал её лицу что-то трогательное и такое беззащитно-родное. Заныривая в коридор, Ваня уже знал,

кого выбирать; пройдя до середины, он остановился около Витьки Черемисова, хлопнул по локтю, чтобы тот отпустил напарницу, тихонько взял Светланкину ручку чуть выше запястья, и они вдвоём, скоро перебирая ногами, выбрались к устью «ручейка». Не успели две свежие пары встать следом, как рядом возник Витька, больно стукнул по плечу Ваню: отдавай, мол, Светку, а правой рукой вцепился девочке в локоток и увлѣк за собой. Светлана, невольно ойкнув, подалась за ним. Ваня, недолго думая, бросился вдогонку. На открытом пространстве он схватил Витьку за свободную руку, дѣрнул к себе.

– Ты чѣ не по правилам?!

– А так хочу!

– Хотя в другом месте! Пошли, Света, за мной.

– Ты еще, Ванѣк, пожалеешь!

– Вали уж, немтырь зареченский!

– А ты болтун нагорненский, сѣдни получишь!

– Уж не от тебя ли, заморыша?

– А увидишь!..

Вечерело. Минька с сестрѣнкой ушли с полянки одними из первых. Не заметил Ваня, как и Лѣнька куда-то запропастился: то ли отправился телят с луга загонять в стойло, то ли ещё куда, да и остальные дружки с их улицы тоже разбрелись. Место игрищ опустело. Ваня, вдыхая медвяный запах, обошѣл черѣмуху вокруг, словно проверяя, не притаился ли кто под атласным пологом нижних веток со свисающими пышными кистями, и лёгкой походкой направился к мосту. Но ступить на доски сразу ему не довелось: дорогу перекрыли Зареченские – такое общее прозвище было у всех, кто жил на другом берегу Топкуши ниже по течению. А вот деревенских с двух улиц и нескольких переулков на возвышенности от Ваниного дома и дальше в гору, до пихтачей с незапамятных времѣн именовали Нагорненскими. Эти два края раньше в праздники часто сходились стенка на стенку в кулачных боях и по традиции недолюбливали друг дружку – и взрослые, и, глядя на них, дети. Однако времена нынче иные, кулачные стенки после вселенских сражений двух мировых войн, выпивших почти все соки из деревни, остались разве что в преданьях, но зов крови пока, видимо, не у всех утих. Хотя те исконно-русские кулачные стенки, когда лежачего тронуть – упаси боже! – конечно же, не шли ни в какое сравнение с предстоящей дракой двенадцати подростков против одного Ивана...

Лишь звѣздное небо стало свидетелем того, как несчастные двадцать метров от моста до калитки полз паренѣк по обочине, цепляясь пальцами со сбитыми в кровь казанками за пряди гусиной травки. Когда он, обессиленный, перевалился через порог, процеживающая сквозь марлю только что надоенное молоко и мельком взглянувшая на сына мать едва не выронила из рук полупустой подойник.

– Беда, Никита! Охти мнешеньки, кто ж тебя так, сынок?

Вышедший на крик из горницы отец глянул на Ваню, закаменел лицом, но сказать ничего не сказал.

– Оступился, упал в Топкушу с моста, мама... – с трудом разлепляя разбитые опухшие губы, тихо произнёс подросток и, шмыгнув расквашенным носом, даже попробовал пошутить: – Ничего, до свадьбы заживѣт...

– Мать, достань-ка с полочки пузырьѣк с камфарой да приготовь чистую тряпочку, а я осмотрю, целы ли кости. Обопрись, Ванюша, отвѣду прилечь. – Никита

Иванович, поддерживая, провёл сына в горницу и, укладывая на плоский, застеленный дерюжкой топчан у окна, вполголоса спросил: – Сколь их было?

– Не надо, пап. Я сам разберусь.

– Только не пори горячку. Ладь аккуратно.

Никита Иванович посидел на краюшке лежанки, пробежал узловатыми пальцами по усыпанному кровоподтёками телу сына, ощупал вытянутые руки, ноги, тронул рёбра и облегчённо выдохнул, да так, чтобы услышала на кухне и Анна Сергеевна:

– Ничего страшного! – И ещё прибавив голоса, бодро закончил: – Крепкого парня ты мне родила, Нюра!

С этого дня вышел на охоту юный мститель. Память у Вани отменная, перед тем как его тогда подло подножкой сзади сбили с ног, времени засечь всех поголовно и поимённо хоть и было от силы полминуты, но и этого хватило. Своих обидчиков он выслеживал по древним, как мир, правилам: ты видишь врага, а он и не догадывается, беззаботно вышагивая по пустынному переулку. Налетал коршуном, кулаком сбивал с ног и валтузил до красных соплей. Иногда обидчики попадались ему и по двое, ну это уж их забота. Просто в таких случаях сила у мстителя удесятаялась, и пощады Ваня никому не давал. Так он посчитался со всеми двенадцатью. Как они его избili чуть ли не до полусмерти, так и он вернул им всё сполна. С того случая зареченские не то что ни разу не собрались опять в свою подлую дружину, чтобы взять над ним верх, а наоборот при встрече с Иваном отводили глаза и вообще старались быстрее ушмыгнуть куда подальше от этого бешеного, по их мнению, пса.

Тропинку в кедрачи, что выпукло кудрявились по скалистым гребням Буяна и ворсисто обрамляли глубокие чаши лощин и ущелий, по всем приметам ладил мужики молодые да резвые, словом, бестолковые и через край отчаянные. Щебнистая, с выходом плоских скальных плит, она по прямой, напролом лезла вверх, иногда уклон был настолько крут, что поднимающийся едва не касался коленями потного подбородка.

На соседний белок Мурашок тропа не в пример этой: хоть и затяжная, зато пологая, вдоль склона, схожая с серпантином – идёшь и ни разу не запыхаешься! Сразу видно, что к ней руку приложили люди обстоятельные, опытные, пожившие. Однако на седёлках Мурашка и по рукавам его распадков кедрачей темнело раздва и обчёлся, не то что на Буяне: куда ни кинь взгляд – повсюду эти алтайские богатыри крепко держат в горстях своих мощных узловатых и чешуйчатых корней подёрнутые мхом и лишайником, наклонные базальтовые плиты либо покоряют скалистые уступы причудливых останцев.

Сюда-то и карабкались ясным августовским полднем зимовьёвские подростки, поспевая за долговязым двадцатидвухлетним парнем Алексеем Бояриновым, тем самым, благодаря доносу которого ушла по этапу Варвара Нечунаева. Этой весной Лёшка вернулся со службы из армии в колхоз, устроился трактористом, поработал с месяц, разонравилось, надумал перебираться в город на лёгкие хлеба, а перед этим решил сходить в горы за кедровым орехом – его, по слухам, нынче валом. Сагитировал с собой деревенских ребятишек, закадычных друзей Ваню, Миньку и Лёньку, понапев им про то, что на отгонах в белках пасут скот его кореша, а значит, и ночевать им будет где, потому как у пастухов на стане есть даже своя изба, и молока хоть запейся.

Гряда пластинчатых скал была выгнута каменной подковой. С левого края в подветренном закутке притулилась рубленая из лиственницы приземистая изба с пологой односкатной крышей и высокой трубой. Рядом, под навесом у шершавой плиты, вертикально выходящей из земли, поленница, сбоку от которой на склоне проглядывался огороженный жердочками огромный загон для скота, сейчас пустовавший: белый день, коровы и быки с телятами разбрелись по тучному альпийскому плоскогорью. У коновязи – осёдланная лошадь, две других со спутанными передними ногами, и годовалый жеребёнок паслись на лужку невдалеке. Трое бородатых мужиков сидели на лавке у избы и курили. Лёгкий ветерок сносил самосадный дым в сторону подошедших ребят. Ваня хватил ноздрями этого дыма и закашлялся.

– Ли чё ль без привычки? – добродушно ощерился сидящий ближе к ним мужик. – Меня об энту пору батяня уж ремнём охаживал, штоб не марал свой рот табачищем. Не помогло... Вы-то откуль, гвардейцы?

– Да мы с деревни, зимовские... – неуверенно начал Алексей.

Подростки недоумённо переглянулись. Они-то думали, что идут к знакомцам, «корешам» Бояринова, а выходит, что набрехал им с три короба Лёшка. Никто его здесь сроду и не знал, и не ждал. Значит, теперь самое верное – развернуться назад да идти искать ночлег где-нибудь в кедрачах. И делать это надо быстрее, чтобы до темноты успеть натаскать дровишек на костёр и сварить чего-нибудь пошамать, а может, заодно и шишек насобирать – пощёлковая ядрёные орешки, веселее ночь коротать.

– Ладно, зимовские дак зимовские, – окинув пронзительным взглядом жавшихся друг к дружке ребят, сказал добродушный мужик. – Не робей, земляки, места всем хватит. Нары у нас сколочены на целый взвод. Полёживай да попёрдывай...

– Не смущай ребят, Савелий, – вступил в разговор седобородый сосед говоруна. – А вы, хлопцы, не больно-то робейте: здесь никто, окромя Жучки, не кусается.

Услышав свою кличку, из-под лавки выбралась заспанная лохматая собачка с умными глазами под кустистой щетинкой бровей, приветливо вильнула хвостом и улеглась на землю у ног пастухов.

– Выспалась, охотница? – нагнувшись, потрепал Жучку по спине сосед Савелия и, обратившись к гостям, пояснил: – Всю нонешнюю ноченьку косолапый ходил кругами у загона, принюхивался к скотине, а вот она пошугивала его, да так крепко, што нам и не пришлось браться за ружья – ушёл восвосяи медведушка.

Подростки недоверчиво посмотрели на невзрачную собачку, перевели глаза на седобородого: врѣшь ведь, дядька, ловко брешешь. Мужик перехватил их взгляды, ухмыльнулся и будто подлил маслица в огонь:

– Энто ишо чё! Вы бы видели, хлопчики, как наша Жучка медведя на задницу садит! Глаза б на лоб полезли! У её товарка была, Белка, да по весне пропала от чумки. Видно, ишо внизу где-то, в колхозе, подхватила. Жучка-то проблевалась, повалылась у ключа да оклемалась, а вот Белку закопали. А прежде они вдвоём подберутся сзади к медведю, вопьются в мягкое место, он лапами передними машет, сбить-то их, а не всегда достать. Вот и крутится, покрутится, они-то его и посадят, а тут и мы успеваем зверя прибрать...

– Дядя, а породы какой ваша Жучка? – насмелился спросить Ваня. – С лайкой-то не шибко схожа – больно мелковата, а вот уши торчат...

– Да лайка и есть. Просто сорт такой отменный: специально под медведёй выведенный дедами нашихинскими.

– Хватит балясы точить, – сказал молчавший до этого третий пастух. – Идите в избу, там чайник на печи ишо не остыл. Попейте с дорожки, отдохните да займитесь тем, зачем пришли. А нам поскотину надобно осмотреть да укрепить.

– Может, и мы чем поможем, – подал голос притихший было Алексей и, осмелев, добавил: – Мы же тоже молоток в руках держать умеем...

– Всё-таки подкрепитесь, а потом уж подходите, – пастух весело усмехнулся: – Без работы не оставим. Проводи, Савелий, ребят в избу. А ты, бедовый, – мужик кивнул на Ваню, – сбегай на ключ вот по этой тропке, молока холодненького принеси чаю забелить. Оно там – увидишь – в банке двухлитровой у бережка. Тока весь не спивайте, оставьте нам побаловаться до вечерней дойки.

Избушка действительно оказалась просторной, а нары, занимавшие половину помещенья, вместительными и удобными. Опростав заплечные мешки от съестного, побросав их в углу, ребята расселись с трёх сторон у стола. Четвёртый край столешницы упирался в подоконник, через низенькое окошко над которым на потёртую клеёнку и миску с колотым сахаром со двора струился солнечный свет. Железная печка-буржуйка у двери была ещё горячей. Савелий взял с полочки алюминиевые закопчённые кружки, придвинул каждому из ребят, подхватил пузатый чайник с печки, определил на специальную решётчатую подставку на середине стола и, сказав:

– Управитесь сами, – вышел вон.

Оставшись одни, ребята осмотрелись. На противоположной от окна бревенчатой стене на толстых кованых гвоздях висели три одностволки: две шестнадцатого и одна двадцать восьмого калибра. Под ними на широкой, отодвинутой от стены скамье на обе стороны свисали пустые патронташи. Жаканы и патроны с дробью, видимо, хранились где-то в укромном местечке: подальше от греха; зато по краям лавки спокойно себе полёживали охотничьи ножи. Два обыкновенных, с деревянными ручками и в кожаных ножнах, а третий – это кинжал с наборной фигурной рукоятью и обитыми латунию, расшитыми разноцветным бисером ножнами.

– Гляди-ка ты, красота-то какая!

Пастухов рядом не было, и Алексей вновь почувствовал себя главным. Похозяйски взял кинжал, вынул из ножен, цокнул языком, осторожно проведя подушкой большого пальца по острому лезвию. И покровительственно продолжил:

– Как дамасская сталь! Кинь газовую косынку, просто подставь кинжал, и она рассечётся надвое.

– А ты, Лёша, откуда знаешь? – Минька уважительно шмыгнул носом. – Поди, у вас на службе такие же были?

– Всякое бывало... – парень выдержал короткую паузу, чтобы начать рассказ о своих армейских приключениях.

В эту минуту дверь скрипнула, и в избу с банкой молока вошёл Ваня. Алексей тут же сменил тему.

– Сейчас, братцы, пошамаем и в кедрачи пойдём.

– А как же помощь мужикам? – это уже Лёнька подал голос. – Мы же обещали...

– Разве я сказал, что за шишками всем надо идти? – быстро нашёлся что ответить Алексей. – За орехом пойдут Ваня и Миня, а мы с тобой – помогать пастухам.

Трое суток отгостевали на пастушьем стане ребята. Нашелушили по полмешка кедрового ореха. Ваня с друзьями в день ухода раненько поутру сбегали вниз по ручью в пихтач и нарезали из-под мха ядрёных груздей, очистили гнутые шляпки от прилипших сухих иголок и бережно разложили в мешках поверх рассыпанного ореха. Алексей за груздями не пошёл, сославшись на то, что надо собираться, чтобы не забыть здесь ничего, да и вообще, он грибы что-то не очень...

Чтобы не уходить, не простившись, подростки, уже с мешками за плечами отправились к пастухам, поправлявшим в ключе за скалами поилку для скота.

– Спасибо, дяденьки, за всё, – звонко выпалил Ваня, как самый бойкий из друзей.

Лёнъка и Минька заулыбались и дружно закивали вихрастыми головами, поддерживая его, а остановившийся чуть поодаль Алексей приветливо помахал рукой, но ближе подходить и что-то говорить почему-то не стал.

Мужики оторвались от работы, опёрлись о лопаты, и седобородый про-изнёс:

– Ступайте с Богом, ребята.

– Коли чё, дак ишо прибегайте, – словоохотливый Савелий расплылся в улыбке.

– И отдохнёте, да и дел нам убавите. Мы подметили: не лодыри ить вы...

А третий, молчаливый, суровый с виду мужик, которого пастухи величали Парфёном Дмитричем, тоже оживился и спросил:

– Идтить-то как думаете? Дорогой какой?

– Как какой? Которой и пришли. Других-то не знаем.

– Тогда я обскажу, как удобней кручи обойти: вот энтим ручьём прямо по лужку спускайтесь. Внизу за разломом у скал отыщете тропку. Она хоть и неприметна, однако хожалая. По ей и окажетесь в распадке у перекрёстной тропы на Мурашок. Берите вправо – и выйдете чуть ли не к подножью. Ступайте, ребяташки. Дел много...

– Посмотрите ишо разок, – вступил опять участливый Савелий, – не оставили чего ль? А то с дороги вертаться, по себе знаю: ой, как паскудно!

– Проверяли уж раз сто, – подал голос стоящий наособицу Алексей. – Всё уложено по-армейски – не подкопаться. Пошли, ребята, хватит отвлекать людей от работы!

Полосатый бурундук, увидев выходящих из чащи людей, от удивления встал столбиком на палом стволе замшелой лесины, на мгновенье замер, присвистнул, задрал вверх пушистый хвост и унёсся по вросшей в землю валежине в заросли акации.

– Ишь, какой быстрый!

– И трусливый!

– Не трусливый, а осторожный. – Алексей отбросил в сторону сучковатую палку, на которую опирался при спуске по тропке вдоль ручья, и наставительно закончил: – В этой жизни только зазевайся – вмиг сожрут! Оттого всегда держи ухо востро...

Разговора никто не поддержал, и группа продолжила путь. За нежно-зелёным, с прядями жёлтой листвы березняком открылась уже знакомая по подъёму сюда каменистая дорога, а это означало, что теперь и до дома недалеко. Прошли с километр и решили отдохнуть в тени раскидистой вербы у студёного родничка.

пульсирующего среди мареновых, в сиреневых разводьях валунов. Попили водички, улеглись на полянке, блаженно вытянув натруженные ходьбой ноженьки, уставились очами в синее небо, с редкими, словно взбитыми, облаками. Только сомлели, как раздался изумлённый Ванин крик:

– Гляньте, пацаны! Наши пастухи мчатся на конях!

Ребята приподнялись и сели, а Алексей Бояринов, так тот вообще встал во весь свой немалый рост. Ваня заметил, что лицо у их старшего товарища какое-то неестественно белое на фоне сочных и ярких красок увядающего лета, а весь всполошённый вид парня показывал, что тот намеревается дать стрекача, и не просто бежать, а с места и в карьер! Да вот только бежать-то некуда: по обе стороны чащоба стеной, вниз по дороге от верховых, да ещё когда те на резвых лошадях, сильно-то и не разбежишься. А с чего это вдруг Лёшка так перепугался? Может, мы там, на стане чего-то всё-таки позабыли, и пастухи нагнали, чтоб вернуть? Дядьки-то ведь добрые...

Однако у двух подскакавших пастухов выражение бородатых лиц было если и не искажённым, но точно ничего хорошего не обещавшим отдыхающим у родничка ребятам.

– Чё ж энто вы, мальцы, так отплатили нам?.. – голос у седобородого низкий, хриплый и угрожающий. – Приняли как родных. Вы ить нам споначалу глянулись: любознательные, работающие. Ан нет! С червоточинкой оказались... Тыфу ты, зараза!

Подростки, переминаясь с ноги на ногу, растерянно глядели во все глаза на верховых, танцующих кругами на взмыленных лошадях, и ничего не могли взять в толк.

– Сами отдадите? – зло крикнул Савелий, направляя своего гнедого на ребят. – Аль нам перетрясти всё ваше хозяйство? Ты-то чё, долговязый, прячешься за пацаньи спины? Вроде как за главного у их, дак и выходи вперёд! Держи ответ! Не жди, покуль бичом приголублю.

– Да-к я, дяденьки, не хотел, бес попутал... – неожиданно по-детски загнусавил Лёшка Бояринов, поспешно нагибаясь к своему мешку.

У ребят от изумления глаза полезли на лоб и челюсти отвисли. Вот это да! В трясущихся руках у сникшего Лёшки заблестел пастуший кинжал с наборной рукоятью и красивыми ножнами, когда он, пряча взгляд, протянул его седобородому.

Тот хмыкнул неопределённо, принимая злополучный нож, поднял было плётку над собой, чтобы вытянуть вора вдоль спины, да, сплунув, тут же опустил, круто развернул своего буланого и, дав тому шенкеля, поскакал вверх. То же самое проделал и Савелий, бросив напоследок резко:

– Всё, гвардейцы, к нам дорога вам заказана! Объявитесь – закопаем...

4

Сельский бревенчатый клуб располагался за речкой от Ваниного дома. Переходишь Топкушу по мосточку с перильцами, сворачиваешь в тесный проулок, по выходу из него – на широкую деревенскую улицу, а там и рукой подать до низкой ограды, за которой, посыпанная мелким щебнем, виднеется аккуратная дорожка между молодых елей до высокого крыльца, увенчанного крупными крашеными четырьмя буквами «КЛУБ». Вертикальные буквы эти составлены из дощечек,

и, если посмотреть на козырёк крыши чуть сбоку, нетрудно заметить, что они закреплены с тыла подпорками.

За окошком в начинающем вечереть переулке косо пролетали рыжие осино-вые листья. Заканчивался сентябрь. Сидя на лавке у порога, Ваня зашнуровывал начищенные до блеска ботинки. Рядом вертелся младший семилетний братик Юрка.

– Ванюшка, а можно мне с тобой? Я тоже плясать могу!

– Мал еще... Гармошкой запросто придавит.

– Я в сторонке посижу, чтоб частушки послушать. Шибко их люблю! – И Юрка задорно пропел:

Меня милый провожал
До куста орехова.
А с куста орехова
Я на пузе ехала! И-й-ой!

Ваня улыбнулся. Воодушевлённый этим Юрка раскинул ручонки и весело затараторил:

Меня милый не целует,
Говорит: потом, потом.
Прихожу, а он на печке
Тренируется с котом! И-й-эх!

– Молодец, Юрок! – Ваня притянул к себе братика и потрепал по вихрам. – Только что-то они у тебя все бабские какие-то...

– Дак я от Зои нашей услышал.

– Другой раз скажи: сестрёнка, ты большая, научи меня петь частушки про парней, а то, мол, с бабскими в клуб не пустят, – пошутил паренёк, толкая дверь. На минутку замешкался, обернулся к брату: – Но тебе всё-таки подрасти требуется хоть на три вершка. Сам же знаешь, что маленьких и в кино-то только на первый сеанс пускают – пока светло, – и с этими словами вышел в сени.

Во дворе, в закутке у забора, Ваня подхватил четыре припасённых загодя берёзовых черенка и, что-то мурлыча себе под нос, направился в проулок. Первый черенок паренёк воткнул в шаге от тропинки прямо за мостом, второй – у своротка в проулок, третий прислонил к сплошному забору посредине пути, а последний, четвёртый, спрятал у пушистой ели перед клубом. И, поправив стрелки на отглаженных брюках, вошёл в зал, откуда доносилась мелодичная музыка.

Здесь всё знакомо и привычно: лавки из середины зала отодвинуты к стенам; у сцены, обрамлённой бархатными занавесками, на столике стоит проигрыватель «Латвия», рядом лежит стопка долгоиграющих пластинок в разноцветных конвертах-пакетах. Слева, на стуле, гармонь с перламутровыми набойками и чёрно-белыми кнопками и клавишами. В кресле с другой стороны столика в синем бостоновом костюме восседает заведующий клубом Тимофей Григорьевич и носком левого туфля отбивает такты, при этом зорко наблюдая, чтобы в зале был порядок. Несколько пар кружатся в ритмах вальса. Остальная молодёжь, разбившись на группки, кто сидит на лавках, кто подпирает стены: девушки и парни раздельно.

В углу зала, ближе к аппаратной кинобудке, кучкуется толпа черноволосых и быстроглазых подростков-чеченцев. Эти по одному никогда не ходят ни в школу, ни из неё. А на переменах и уроках, если они в разных классах и без поддержки.

то всегда тихие и сосредоточенные на чём-то своём. Их поселенье, известное среди деревенских как Чечен-городок, в полукилометре от Зимовья появилось в конце войны, когда эшелон обовшивевших и голодных кавказцев знобким мартовским утром выгрузили на станции в Черемшанке и строем через сопки пригнали в осиновый распадок, где и определили им постоянное место пребывания. Какое-то время о них не было ни слуху, ни духу. Однако после Победы наступило послабление для ссыльных, и комендатурой было разрешено ссыльным передвигаться не только в пределах поселения и таёжных делян, где взрослые работали на заготовке леса, но и выходить-выезжать в другие места. Тогда-то чеченцы и стали наведываться в деревню.

Как правило, это были две-три неразговорчивые, с виду пугливые женщины, с мешками за плечами, закутанные чуть ли не по самые блестящие чёрные глаза тёмными шальями и одетые в длиннополые, тёмные же халаты. Их всегда сопровождал пожилой чечен. Шествовал он – руки за спину, в папаче, в калошах, брюках галифе с высокими шерстяными носками. Женщины ходили по дворам и просили милостыню. Люди выносили: кто ломоть хлеба, кто несколько клубней картофеля, кто пригоршню зерна или кулёк муки. Спустя какое-то время и другие взрослые чечены стали приходить в Зимовьё: в кузню – поправить хозяйственный инвентарь, к бондарю – заказать кадки, лагушки, шайки и квашёнки.

Осенью первого же года прибывшую ребятню распределили по классам. Сначала в деревню настороженных мальчиков и нелюдимых девочек всегда приводил один и тот же чечен, видимо, назначенный комендатурой в сопровождающие; однако к зиме, когда вышло послабление, юные чеченцы в школу стали приходить одни.

Тимофей Григорьевич, заметив Ваню в дверях, приветливо помахал рукой, приглашая подойти к столу.

– Ну что, Иван, сыгранёшь цыганочку? А то молодёжь что-то вялая нынче...

– Да запросто! – паренёк подхватил за ремень гармонь, продел руки и пробежал пальцами по выпуклым прохладным кнопкам. – Вальс доиграет, выключайте, Тимофей Григорьич, приёмник. Я готов!

Около часа, не умолкая, звучали в клубе щемящие и переливчатые, пронзительные и задорные переборы тальянки. Молодёжь расплясалась, развеселилась, раскрасневшиеся девчата отбивали такие дробы каблуками, что полы прогибались и гудели. Парни не отставали от подружек и выдавали коленца, приседали, кружились, взметали ноги на немыслимую высоту, что тебе цирковые гимнасты! Вечёрка явно удавалась. Лишь одни кавказцы всё так же стояли в своём углу, изредка гортанно переговариваясь и равнодушно поглядывая на веселящихся деревенских ровесников. Было видно, что пришли они сюда не на праздник, а по своему какому-то особенному делу. И поминутно склонявший чубатую голову над гармонью Ваня знал это дело. Потому-то ему было как-то необыкновенно весело и куражливо.

Сегодня днём на большой переменке, когда почти вся школа высыпала во двор: кто поиграть с мячом на спортивной площадке, кто-то просто посидеть на скамейке, подышать горьковатым воздухом осени, некоторые же из учениц бродили между берёз и клёнов и собирали с земли опавшие листья на гербарий, – вышел на лужайку и Ваня. И уже настроился оббежать вокруг одноэтажного здания два

круга, как заметил, что у куста черёмухи Иса, невзрачный и горбоносый, чья парта впереди Ваниной, пристаёт к Любке Дубровиной из четвёртого «А». Ухватив девочку одной рукой за локоть, другой пытается вырвать у неё прижатый к фартуку разноцветный букетик из кленовых, берёзовых и черёмуховых листьев. Ваня, не раздумывая, в три прыжка подскочил к разгорячённому чеченцу, поймал за шкуру, оторвал от перепуганной Любки и с силой отшвырнул в сторону.

– Ты что, черномазый? Слабых обижать!.. Счас так накостыляю – костей не соберёшь!

Иса, лёжа на траве, свернулся калачиком, подтянув ноги под себя и закрыл голову руками, ожидая новых ударов.

– Не бойся, гадёныш. Лежачих не бью! Пошли, Любка, в школу. Слышишь, звонок зазвенел?

Без четверти десять вечера завклубом поднялся с кресла, смахнул пылинку с лацкана пиджака и, обернувшись, кивнул Ване, всё, дескать, заканчивай музыку – время. Паренёк выдал последний аккорд и свернул гармонь.

– Теперь, Иван, до следующей субботы. Не забудешь?

– Как же мне забыть, Тимофей Григорьич! Я праздники все помню.

Молодёжь, расставив лавки по своим местам, потянулась к выходу. Ваня же не торопился, сам отнёс гармонь в кабинет заведующего и не спеша через опустевший зал вышел на крыльцо. Там уже никого не было. Паренёк вдохнул свежего воздуха полной грудью и начал спускаться по деревянным ступенькам.

– Заждались мы тебя, урус, – ласково раздалось из темноты, и на освещённую дорожку вышел рослый Ваха, который ещё в прошлом году окончил их восьмилетку. – Думали, ночевать останешься в клубе, гадали, как тебя выкурить. Ты на кого руку свою поганую поднял?

– Ни на кого! А если кто из вас ещё тронет наших девчонок, – спокойно сказал в ответ Ваня, незаметно пятясь к пушистой ёлочке, – всем навалю!

– Ах ты, баран деревенский!

– Врежь ему промеж глаз, Ваха!

Теперь уже все чеченцы вышли из темноты и начали обступать Ваню, пытаются взять в плотное кольцо. Было их больше десятка человек, и среди них Иса, но тот что-то вперёд шибко не лез, видимо, надеясь, что, как только повалят наземь этого русского, он всласть попинает поверженного, всё ему припомнит!

Ваха почти настиг паренёка и даже приподнял правый кулак над собой, чтобы влепить сверху в лоб непокорному «урусу», однако в этот миг сам получил по смуглой шее удар берёзовым дрыном, да так звонко, что повалился набок, схватившись за ушибленное место разжатой ладонью. Но Ваня этого не видел. Теперь он орудовал черенком налево и направо, расчищая путь к калитке. Противники – кто-то успевал, смягчая боль, прикрывать голову руками, кто-то невинным отскакивал в сторону, а кто-то и схлопатывал по полной и, постанывая, падал на щебень...

Ошеломлённые неожиданным и яростным отпором, чеченцы потеряли инициативу, что дало возможность пробиться паренёку на улицу, обернуться к преследующим, чтобы швырнуть в них треснутый черенок, и резво припустить в проулок. Поняв, что теперь он безоружен, кавказцы с гиканьем бросились следом, надеясь догнать и теперь-то уж точно запинать мятежного парнишку. Однако Ваня

бегать умел, и к тому моменту, когда первые преследователи в предвкушении скорого возмездия мчались один за другим по тесному и тёмному проулку, он уже стоял, приводя дыхание в порядок, посреди оград и ожидал чеченцев, крепко сжимая в руках очередной черенок. Луна, выглянув из-за туч, выхватила из мрака решительную фигурку паренька и искажённые лица догоняющих. Те быстро сообразили – что к чему, но сделать ничего не успели: удары посыпались хлётко и неотвратимо, сверху вниз, будто юноша весело охлопывал развешенный на заборе матрас. Вскоре и этот, обломанный о спины врагов, черенок Ваня бросил им под ноги и пустился дальше по узкой дорожке.

На полянке при лунном освещении силуэт отчаянного паренька, с третьим по счёту черенком в руках, выглядел для выбежавших из проулка преследователей и вожделенно, и устрашающе. Трое чеченцев кинулись к забору и вырвали по доске. С ними наперевес они и бросились на Ваню. Но не зря же Ванюшу ещё в детстве никто из друзей не мог одолеть в сражениях на деревянных мечах, даже если противников было двое или трое. А сейчас к нему неслись далеко не друзья, и от этого силы у Вани только удвоились. Он ловко отбил удар за ударом, несколько увесистых нанёс и сам, вот уже послышался и треск хлипких в сравнении с берёзовым черенком ломаемых досок. Чеченцы убежали прочь, отбрасывая от себя ненужные щепки. Остальные выскочившие из темноты кавказцы остановились поодаль, зло и опасливо поглядывая на неподдающегося им русского парня.

– Что? Выкусили! Ну, кто ещё хочет?.. – громко выпалил Иван. – У меня здесь столь колов напрядано! Всех уложу!

– Слушай, ты, вояка! Нас вон сколько! – вышел из толпы Ваха. Сейчас голос у него был отнюдь не ласковым и медоточивым, как давеча у школы. Однако в угрожающий тон вплетались едва различимые нотки неуверенности, хотя главарь чеченцев и продолжал грозиться: – Мы тебя, урус, подкараулим и легко раздавим как вошь.

– Это мы ещё поглядим! Вы же, козлы, всю жизнь сворой ходить не будете. – Ваня жёстко усмехнулся: – Переловлю по одному – мало не покажется. А теперь – валите в свой Чечен-городок. Сюда вас никто не звал.

Как бы там ни было, но после этой драки чеченцы года два к Ивану не задирались, хотя первое время парень, отправляясь в клуб, по-прежнему расставлял черенки в укромных местах, а идя обратно, собирал и укладывал в закутке у забора.

5

Диск июльского солнца оплавил скалистые выступы отрогов Бугружихи и скрылся, рассыпая по небосклону золотистый веер последних лучей. Улица перед клубом, на которой толпилась нарядная деревенская молодёжь в ожидании, когда распахнутся двери, потускнела от скупого света, однако это никого очень-то и не расстроило: позади жаркий рабочий день на окрестных лугах, впереди – танцы и пляски сельской вечерки!

– И вот, значит, едем мы с батей с покоса, миновали Чёрный пихтач, а тут и угоды дяди Саши Завьялова, – повзрослевший, раздавшийся в плечах Минька стоял в чёрных брюках и белой накрахмаленной рубашке с короткими рукавами в центре круга слушавших его ребят и весело рассказывал: – Видно, что сено смётано в большой стог метрах в пяти от дороги. Чистенько кругом, ни пучка на отаве. Батя

уже поднял кнут, чтоб Серка подбодрить, да вдруг как раздастся сверху истошный бабий вопль: «Люди добрые! Спасите! Сымите меня со стога, умру ить на ём!..» Папка осадил Серка, спрыгнул с телеги, я за ним. Обошли кругом, огляделись, а с вершины-то зарода снова: «Вы чё, не видите, ли чё ль? Я ить над вами! Измаялась, всю душу вымотало!.. От, ирод-то, чё сотворил!» Мы задрали головы кверху, а там на шестиметровой высоте сидит тётка Лукерья в шароварах, кофтёнке, подвязана платочком, лицо потное, как варёное. Делать-то нечего, надо снимать её с этакой верхотуры. Сбегал я к телеге, принёс верёвку, папка пробросил её через стог. Я обежал кругом, проверил: вроде легла посерёдке, вернулся к бате, ухватились мы за край покрепче. Отец скомандовал тётке Лукерье спускаться потихоньку по той стороне. Мы с этой противовесом подстраховываем. Обошлось, тётка приземлилась как надо. На отаву пала, плачет, чуть не целует землю. Когда усадили в телегу да поехали, она и рассказала, что сидит на стоге без воды и еды с обеда, всё, мол, пекло проторчала, думала, отдаст душу боженьке. Папка ей: «А Ляксандр-то Нилыч куды делся?». А тётка в ответ: «Я на его в суд подам! За причинённый мне ущерб!»

Слушавшие расхохотались, живо представив себе тётку Лукерью, известную всей деревне своим неуживчивым, вздорным характером и безмерной крикливостью.

Когда смех утих, Михаил продолжил:

– Проехали мы ещё сколько-то, тётка остыла малость, и папка опять к ней приступил: «Сказывай, Луша, чегостряслось у вас». Она пожевала губами, пожевала и начала: «С утреца всё было ладом. Стащили копны в одно место. Ляксандр отцепил волокуши, спутал Орлика и отослал пастись. Опосля я взобралась на средину укладывать навильники, сам-то стал подавать. Споначалу пласты шли как надо, мне только успевай раскладывать да утаптывать серёдку, а ближе к завершыю этот старый козёл чегой-то взбрыкнулся да принялся пласты перекручивать. И попробуй с имя – кручёными-то! – управиться. Я ему тихонько так: «Ты, мол, Ляксандр, клади аккуратней». А он как вскинется: «Ты чё там, старая, шебуршишь? Кто тебе, дескать, слово, давал?» Ну, я и не стерпела, взяла да отчитала его по первое число. А он ить, ирод, сразу-то смолчал. Только гляжу, чё-то замурлыкал себе под нос, а как дometали, подал мне вицы и, покуль я их укрепляла на стогу, он скоренько Орлика в телегу и – только его и видели! Ничё, прибудем домой – устрою ему ледовое побоище! На коленях будет ползать у меня, ирод подколодный».

– Как бы не так! Набрехала вам тётка Лукерья, – усмехнулся Лёнька, тоже вытянувшийся за эти годы и разжившийся рыжеватым пушком над верхней губой. – Я сейчас проходил мимо ихней ограды. Сидят на лавке у ворот и чуть ли не воркуют. Оба навеселе.

– Быстро ж помирились...

– А может, не зазря посиживала тётка Лукерья на стогу, – вставил слово стоявший в сторонке, рядом с ёлочкой Иван. – Было время подумать... Поняла, что без Ляксандра своего она никуда. – Парень улыбнулся: – Вон даже со стога слезть не смогла. Идём, ребята, плясать. Тимофей Григорыч на крыльце давно заждался.

– Ванюша, – шутливо обратилась к брату проходившая мимо Зоя, в лёгком цветастом платьице и с кудрявой миловидной подругой под ручку. – Татьяна вот интересуется: ты сегодня опять извечный гармонист иль хоть разок спляшешь с нами?

– Ну чего ты сразу, Зоя? – зарделась девушка. – Ничего такого я тебе и не говорила. Ваня, это твоя сестра сама придумала!

– Нет уж, Танюша! Знать ничего не знаю, но один танец за мной!

– Да ну тебя, Иван!.. Скажешь тоже!

И девушки, постукивая каблучками, весело взбежали на крыльцо.

Только-только расплясалась молодёжь, только-только размялись гибкие Иваны пальчики, и тут, в очередной раз окидывая зал быстрым взглядом, увидел гармонист, как трое чеченских парней отгеснили его старшую сестру с подругой в угол к круглой и высокой голландской печке и не по-хорошему пристают к девушкам. В два прыжка парень уже рядом.

– Чё лезете к девчатам?

– А ты кто?

– Я – брат. А вы пришли, так ведите себя скромно...

– Щенок! Все девки тут наши, а вы, сопляки, знайте своё место! – ласково ухмыльнулся самый дерзкий из чеченцев и, схватив Ивана за грудки, притянул к себе.

Тот, недолго думая, поймал запястья противника, крепко сжал в ладонях и, вывернув руки чеченца, отбросил задиру к лавкам у стены. Поверженный чеченец быстро вскочил на ноги, выхватил из кармана складень и замахнулся на парня. Иван увернулся, и задира с такой силой, что обломилось лезвие, воткнул нож в деревянную спинку ближней лавки. Краем глаза парень заметил, как двое других пытаются обойти его и напасть сзади. Иван попятился к голландке, не давая им сделать этого, упёрся лопатками в железный овал печи и тут же правой рукой нащупал прислонённую к стенке кочергу.

– Ну, всё, держись теперь, нерусь! – задорно выкрикнул парень, размахивая гнутой клюкой перед собой. – Станцует гопака!

Чеченцы ломанулись в двери, Иван за ними. Ребята оказались прыткие, да и бегали неплохо. Только через две горки, Пихтовую и Осиновую, нагнал их взбешённый гармонист. Он и не заметил, как оказался посреди своеобразных округлых мазанок, где прежде Ивану бывать не приходилось никогда. Убегающие от него парни рассыпались по проулкам, а он остался один на вытоптанном пятачке. Отдышался, огляделся. Окружающие его мазанки напоминали низенькие сакли: по углам четыре вкопанных столба, стены выпукло-овальные, сработанные из переплетённых между собой веток акации, с обеих сторон обмазаны глиной, плоские крыши выложены дёрном, из которого поблёскивают в сумерках зыбкие стрелки редкой травы.

Иван уже было развернулся, чтобы покинуть Чечен-городок, но ему дорогу перегородили шестеро взрослых угрюмых бородатых мужчин. Иван машинально перехватил клюку, держа круг и готовясь к новой драке. Но в этот миг из ближайшей мазанки, сгибаясь в дверном проёме, вышел высокий и поджарый старик и поднял сухие руки вверх.

– Это мой гость, – резко бросил дед обступившим Ивана чеченам и, взяв парня за руку, повёл за собой.

Не успели они войти в мазанку, как навстречу из глубины, от печки, круглой, как дувал, выбежала закутанная во всё чёрное женщина, усадила Ивана на низенький табурет, сняла с него ботинки, опять исчезла куда-то. Тут же вернулась,

неся тазик с тёплой водичкой, помыла парню ноги, обтёрла чистой сухой тряпкой, снова обула на него ботинки и вышла наружу вылить воду. В это время из глубины сакли появился старик.

– Садись, парень, за стол, будем чай пить.

Дед внимательно посмотрел на Ивана из-под густых седых бровей, огладил белоснежную бороду.

– Ну, рассказывай, за что ты их пригнал?

– Они к сестрёнке моей лезли...

– У-у, шайтаны! А ты хороший джигит, храбрый джигит. Мы их накажем, – с расстановкой молвил старик. – А тебя никто не тронет. Умный джигит. Да ты пей чай, пока не остыл, – чеченец помолчал и вдруг, словно что-то вспомнив, заторопил парня: – Ночь уже, джигит, ночь. Тебя, небось, родители заждались дома, а то и потеряли. Скорее нужно поспешать...

Июльские сумерки в алтайских горах могут растягиваться едва ли не до полуночи, и поэтому, когда Иван, озираясь по сторонам, вышел из безлюдного, будто вымершего Чечен-городка на дорогу и выкарабкался на Пихтовую гриву, окрестность просматривалась почти вся. На серовато-бледном небе робко вспыхивали первые звёзды, справа в ложине перепёлка затягивала своё монотонное «спать пора... спать пора...»; на Князьем отроге коротко ухал филин; над поймой Топкуши, ниже, за деревней, струились, повторяя все изгибы реки, белые полосы тумана. «Ещё один взломок – и я дома», – только успел подумать парень, как какой-то необычный шум заставил его насторожиться.

И было отчего: по дороге со стороны Зимовья навстречу Ивану скорым шагом почти бежала толпа мужиков, в руках у многих топоры, вилы, колы. Впереди с расстёгнутым воротом на рубашке и огромным колом в руках отец; глаза, как рассмотрел зоркий Иван, налиты кровью, вид решительный. Рядом с батей – возбуждённый Роман Сергеевич, у того в руках тускло поблёскивал топор. Парень всё понял и раскинул руки, преграждая путь землякам.

– Всё хорошо. Папка! Дядь Рома! Успокойтесь! Видите же: я живой и здоровый! Пошли назад в деревню.

– Дай-ка, сынок, я тебя огляжу... Не покалечили?

– Да что ты! Наоборот, даже чаем напоили! А вы-то как прознали?

– Зойка прибежала, обсказала: мол, ты сломя голову к чеченам помчался, крушить...

– Всё, папка, обошлось. Никто меня не тронул, а ихний главный даже ещё и сказал, что накажет тех шайтанов, которые к Зойке с Танькой лезли. А меня джигитом назвал, – не удержался, похвастался Иван.

Напряжение последних часов как-то сразу спало. И парень обмяк: теперь он среди своих, а мужики, если что, за него любому скулу свернут.

6

Не заладилось с учёбой у Ивана, и отец взял его себе в помощники на конюшню ухаживать за жеребятами: давать кормов, гонять на кобыле Машке на водопой к незамерзающему ручью, чистить от навоза и проветривать помещенье. Колхозного молодняка насчитывалось двадцать голов, повадки у всех разные, норы у каждого свой, однако парень быстро нашёл с жеребчиками и стригунками общий язык. Спустя неделю они ходили за Иваном табунком, как привязанные. А всего-то и

надо было: не орать на животных благим матом, не давать им зуботычин по поводу и без, не забывать потрепать по загривку самых игривых, сунуть другой раз корочку хлебца, посыпанную солью, во влажные податливые губы – и жеребята за тобой и в огонь, и в воду.

Подфартило молодому конюху и с приданной ему кобылицей Машкой. Лошадь оказалась не только смирной, но умной и сообразительной. Она умудрялась как-то угадывать и опережать мысли Ивана: он ещё и не успевал подумать о ней, а Машка уже рядом – стоит, переминается с ноги на ногу, ласково заглядывает хозяину в глаза: звал, мол, вот она я!

Стойла у жеребят располагались в конюшне на две стороны. Между ними широкий сквозной проход. При чистке Иван выбрасывал навоз и объедья ближе к середине. Получался внушительный продолговатый валок, который лопатой или вилами нужно было нагружать на тележку или санки и везти на улицу чуть ли не через всю конюшню. Парню это скоро надоело, он и придумал простой, но верный способ: с двух сторон привязывал к хомуту две оглобельки, на волочащиеся по полу концы крепил плоскую широкую доску, просунув в дырки на ней оглобли и законтив специальными палочками. Получался своеобразный скребок. Брал вожжи, вставал на эту доску, чтобы она не играла и, начиная с края, от дверей, шаг за шагом очищал помещение от навоза. Причём Машка, будто чувствуя всю ответственность, бывала здесь покладиста как никогда: не вильнёт, не зауросит, не взбрыкнёт. Таскает и таскает за собой полный отхофов скребок, да ещё и ласково косится назад, на ведущего её хозяина: гляди, какова я в работе, Ванюша.

В феврале у конюхов случилась заминка с продуктами. В частности, с мясом. Дело в том, что хозяйство: жилая избушка и конюшня располагались в семи километрах от деревни. Три дня валил снег, дул ледяной ветер, по логам сугробов намело до двух метров: не пробиться ни в Зимовьё, ни оттуда. Но на животных это никак не сказалось – зароды с сеном в двух шагах, дорогу к ручью кони пробивали сами. Первой, по обыкновению, в высокие сумёты погружалась по самую грудь мускулистая Машка. Торкнется в сугроб, отпрянет, встанет на дыбы, побьёт передними копытами, умнёт тропу, жеребята за ней. По пути они успевали ещё и порезвиться. Юность, она у всего живого примерно одинакова. кровь кипит и требует выхода. И наблюдать за этими играми – это как побывать на празднике!

На четвёртые сутки снегопад угомонился, ветер стих. Ночью ударил мороз за тридцать, а поутру взошло заиндевелое солнце. Никита Иванович оседлал кобылу и наладился в Зимовьё за продуктами.

– Буду к вечеру, Ванюша, – сказал отец перед тем, как забраться в седло. – Машка – кобыла добрая, дорогу и под снегом чувствует, думаю – не увязнем. – И уже с седла обернулся к сыну: – Потерпи ещё денёк без мяса. Коли чё, дак за печкой сухарики в мешочке висят. Размочи да поешь. Н-но, родимая! Пошли-и!

Иван постоял на вытоптанном пятачке у конюшни, поглядел, как лошадь смело набивает тропу. Парень знал, что самое трудное – это выбраться из лощины на взлобок, а дальше будет легче: снег со склона, по которому вьётся дорога в деревню, почти весь выдувает ветрами: они хозяйничают в этом протяжённом створе междугорья, совсем не зная затишья, и вылизывают в иных местах сугробы чуть ли не до мёрзлой земли.

Не далее как в канун бурана в один из солнечных дней парень верхом на кобылице пригонял туда жеребят, чтобы те накопытили себе корма, полакомились стылыми стеблями и листьями прошлогодней травы да и просто побегали бы влать по голым косогорам.

Иван повернулся, чтобы идти в избушку, но тут его внимание привлёк шум на соломенной крыше конюшни. Стая галок расселась не только на коньке, но и что-то выискивала в соломе по скату. Птиц было столько, что крыша чернела шевелящимися пятнами. Парень скорым шагом сбегал в сени за одностволкой, на ходу зарядил её дробью и, прицелившись, выстрелил. Туча птиц, неистово галча, поднялась в небо, однако с десятков подстреленных попадали наземь. Иван собрал дичь в корзину и, пока птицы не остыли, живо ощипал их, выпотрошил; поставил на плиту кастрюлю с водой и штук пять опустил варить. Остальных сложил в мешок и вывесил на холоде в сенях. Запас карман не тянет.

Похлёбка очень даже удалась, пусть и не такой уж наваристой: галки, как и другие пернатые, на исходе лютой сибирской зимы были тощими, – однако мясо в них имелось. То ли переел с голодухи парень, то ли проглотил второпях вместе со шкурой недочищенное перо, однако после полудня живот так скрутило, что молодой конюх два раза бегал на мороз в дощатую уборную. Но и это не помогло – боль справа внизу живота лишь усилилась до рези. Он уже места себе не находил, когда услышал с улицы радостное ржание кобылицы, и через пару минут в избу вошёл отец.

– А ты почто полёживаешь, когда работы через край? – с ноткой недовольства начал Никита Иванович, но тут же осёкся, рассмотрев на подушке измученное и бледное лицо Ивана. – Что стряслось-то, сынок?

– Да живот режет, спасу нет! – с трудом ворочая языком, еле слышно ответил парень.

– Ну-ка сползи с подушки и ляжь на спину. Ноги вытяни и рубаху на животе задери.

Никита Иванович осторожно провёл пальцами по оголённому телу от солнечного сплетения до пупа. Иван не реагировал, а вот когда он сдвинул пальцы в правый угол живота и слегка надавил, больной вскрикнул и выгнулся дугой на топчане.

– Всё понятно, сынок... – суровое лицо отца потемнело, он тряхнул головой и вполголоса обратился к Ивану: – Одеться-то сам сможешь?

– Да, – через силу выдавил из себя парень.

– А то давай я помогу...

– Ничего, папка, я сам.

Кобылица Машка, как всегда, оказалась на высоте: по натоптанной ей же самой дорожке она вывезла на себе обоих конюхов с займки в Зимовьё. Правда, к Еланцевскому двору лошадь пришла вся в мыле. И пока Никита Иванович бегал в управление похлопотать о транспорте до города, Анна Сергеевна провела кобылицу под навес, протёрла ей спину и шею сухой тряпкой, укрыла подрагивающую от усталости лошадь старым стёганым одеяльцем и поставила перед Машкой тазик с овсом, а сама быстро побежала в избу к сыну.

В заводскую больницу Лениногорска примчались хоть и затемно, но вовремя: аппендикс лопнуть не успел. Операция прошла успешно, и через восемь дней Ивана выписали, однако ни о каких жеребятках теперь не могло быть и речи: только лёгкий труд до полного выздоровления.

Осыпаясь с крыши на толстую корку льда у завалинки, солнечная мартовская капля пробивала круглые лунки-стаканчики, из которых, переполняясь, через прозрачные края стекала в ручеёк талой воды, бегущий со двора к ограде. Иван сидел на скамье под берёзой, наблюдал за переливчатыми струями и грелся в лучах, щедро льющихся с оттаявших небес.

Скрипнула входная дверь, и на крыльцо вышли отец и мать. Никита Иванович обратился к парню:

– Ну что, сынок, готов?

– Да, папка.

Иван встал, подхватил лежащий рядом мешок на лямках, забросил себе за спину.

– Ты не провожай. Я ведь у деда Андрона бывал, и не раз. Дорогу знаю. На Пихтовой гриве справа...

– Поклон ему от нас. Денька через три наведуясь – гляну, как устроился.

– Хорошо. Ну, я пошёл.

– Ступай с Богом, сынок.

– Береги себя, Ванюша, – Анна Сергеевна обмакнула глаза кончиком платка.

– Тяжести не таскай. Оно хоть и срослось, да мало ли...

Аккуратные заворки, съёмные жердины на поскотине, что опоясала владенья колхозного пасечника Андрона Савватича Бабина, были гладкими, отполированными дождями и ветрами настолько, что брать их в ладони и вынимать из скобок на пихте доставило парню чрезвычайное удовольствие. Уже по одним им можно было судить о том, что за человек этот пасечник. Иван глянул вглубь поселения: перед ним на вытаявшем склоне открылся точок с ровными рядами недавно выставленных ульев на колышках.

– Однако, больше сотни, – одобрительно произнёс парень и услышал позади себя:

– Сто сорок, сынок, сто сорок. Нуждó бы боле, да с десятков отошли. Намокла пчёлка.

Иван обернулся. Перед ним стоял высокий, чуть не под два метра, старик лет восьмидесяти. Белый как лунь, щёки впалые, сам костистый, руки, с широкими заскорузлыми ладонями – лопатами, свисают едва ли не до колен. Взгляд из-под кустистых седых бровей пристальный, пытливый и вместе с тем доброжелательный.

– Никак в помощники? Председатель сказывал, заезжал наведни. Нуждо бы нонче и хужей быть...

Ивану пока было непонятно значение этого чудного словца «нуждó», с ударением на последнем слоге, но парень не торопился лезть к старику с расспросами. Поживём – выясним...

А дед продолжал:

– Омшаник подмок снизу – венцы подгнили. Добро хоть заглянул к имя в феврале, да прибрал улы кверху. Идём, дружок, в избу, ознакомимся поближе.

С крыльца в дом прошли через широкие сени с пологой лестницей на чердак. В избе одну треть занимала русская печь, ближе к окошку простенькая посудница с вёдрами и кастрюлями по низу и поварёшками, медными кружками и всевозможными ситечками на гвоздях по стенке. В закутке за печкой – огромный ларь с

плоской крышкой, застеленный дерюжкой и с цветастой подушечкой в изголовье. Хотя у дальней стены, как отметил про себя Иван, имелась и деревянная заправленная кровать. Между двух подслеповатых оконцев добротный стол, табуреты, в простенке на гвоздиках висят струганные дощечки. Одна полностью исписана химическим карандашом: ровные цифры, буквы, крестики, нолики. Другая дощечка чиста до половины.

– Для наблюдений, – заметив любопытство в глазах у парня, пояснил дед Андрон – Данные о трёхдневных и однодневных засевах маток, о трутнях и маточниках. А вот эти две строчки о старых и молодых матках. Вербя зацвела, пчёлки хлебину понесли, и энто нужно бы вписать, место-то есть. Да руки не доходят – заглянуть в корпуса. Однако вдвоём мы за пару дён управим. А сейчас мы сделаем вот чё.

Старик снял исписанную дощечку со стены и, пригласив кивком Ивана следовать за ним, прошёл в мастерскую, что находилась рядом с избой. Дощечку закрепил на столярном столе, взял с полки рубанок и прошёлся им несколько раз. На пол осыпалась золотистая, слегка подсиненная от химического карандаша стружка. После этого старик постучал ребром дощечки об стол, сбивая последние крошки, и провёл пальцами по гладкой поверхности:

– Как новенькая!

– А те записи, что – уже не нужны?

Ивану было интересно всё знать.

– Теперь нет, я по им сверялся в первые дни с зимовки. Нужно бы оставить, да нашто копить... Пустые дощечки боле надобны к лету. Писанины будет, тока успевай строгать!

Ивану на пасеке нравилось. Работать парень умел и любил. Да и вся атмосфера здесь была самая благодатная: взятый в просторный квадрат пушистыми пихтами точок, изба на возвышенности – всё на солнечном месте, и только омшаник в пятнистой тени старой черёмухи, одевшейся в начале мая в пышную белую накидку. Дед Андрон никогда не подгонит, не заворчит, если парень что-то не поймёт с первого раза, терпеливо втолкует и размаячит, что да как; доброй улыбкой подарит помощнику уверенность в его юных силах.

В середине мая, когда улы были осмотрены и семьи подготовлены к предстоящему взятку, в работе открылось оконце, появилась возможность поправить омшаник. Зимовники пчёл на таёжном Алтае с незапамятных времён отменные от тех, что в центральной России. Здесь они представляют собой двойной сруб с воздушной подушкой между брёвнами. Это делается для того, чтобы внутри держалась определённая, без резких перепадов температура, и насекомые, «божьи мушки», ровно переносили зиму.

Иван, по указке деда Андрона, поднапрягшись, ломиком вывернул и выбил кувалдой один за другим все четыре нижних подгнивших венца на внешнем срубе. Тот, глухо ухнув, осел на постеленный мох. Осторожно, чтобы не повредить сруб, были извлечены подопревшие венцы и второго ряда. Теперь дело за малым: привезти с недалней деляны спиленных ещё зимой двенадцать с обрубленными сучьями лесин – пихтовых хлыстов, длиной больше десяти метров каждый. И вот здесь-то нашла коса на камень.

– Нужно бы председатель распорядился с конём, – вслух негодовал старик. – Дня бы хватило хлысты прибрать. Ошкурили б, они ить давно уж высохли.

Верхние венцы вдвоём-то скоро бы нарастили, да крышу вернули на место, – дед Андрон покачал седой головой, вздохнул да и закончил: – К осени омшаник звенел бы сухой. А пчёлке тогда бы какво зимовать! Как в перинах...

Вечером Иван отпросился у деда и убежал в деревню на танцы, а когда вернулся к полудню следующего дня, то у парня глаза на лоб полезли: рядышком с омшаником в метре друг от друга лежали одиннадцать пихтовых лесин. А с горки спускался дед Андрон, только вот как он шёл – это надо было видеть: в раскоряку под тяжестью сгибаая колени, руками обхвативши комель хлыста, что покоился на широком костистом плече деда. Вершинка лесины волочилась, сдирая траву, далеко позади. Иван подбежал к старику и попытался встать под несомое дерево следом за тяжело дышащим пасечником, однако тот снял левую руку сверху и провёл ладонью от груди к плечу.

– Не лезь, придавит. Управлюсь сам, – прерывая частое дыхание, молвил дед Андрон и, не останавливаясь ни на шаг, нашёл в себе силы усмехнуться и похлопать поднятой опять к стволу левой рукой по смолистой тёмной коре: – Он уж со мной-то свыкся, а тебе, Ванюша, авось и не дастся.

– Дедушка, а какая ж в тебе сила была смолоду, если ты и сейчас такими лесинами ворочаешь? – уважительно обратился к старику Иван, когда тот, сбросив с себя комель, присел на него же и чуток отдышался. – Я мужика с такой силой видал лишь однажды в детстве, когда под Орловкой телегой насмерть придавило дядю Игната Бояринова...

– Да такая же и была. Я ить её не мерял, – дед Андрон добродушно улыбнулся. – Однако задирать меня ребята и мужики смолоду опасались, а более их я сам боялся кого ни попадя скалечить. – Старик поднялся с комля и махнул рукой: – Да и пустое всё это! Айда пить чай. Да, однако, шкуруть начнём...

Ещё не облетели белые лепестки с черёмухи, а лощины густо зажелтели цветущей акцией. Любопытно, что нектара с духовитой до головокружения черёмухи пчела вообще не берёт, а со слабо пахнувшей акации несёт в своих воздушных хоботках-бочонках столько, что спустя несколько дней уже нужно наставлять на корпуса магазинки. Мёд этот почти прозрачный и без запаха, но необыкновенно вкусный и целебный. А сам взяткок именуется у пасечников «поддерживающим», потому что в эту пору активно развивается и крепнет пчелиная семья, и сытная и качественная еда ей – ой как вовремя! Пчеловоды без острой необходимости в эти дни не тревожат «божьих мушек», а занимаются починкой ограды, подновляют строения, готовят инвентарь к июльскому, основному, взятку.

У сноровистого и рукастого деда Андрона всё это давно сработано, и теперь настал промежуток безделья. Ивана он отправил на денёк-другой в деревню, пособить батьке с мамкой, а сам решил опробовать откипевшую медовуху в долблённом лагушке за печкой. Зелье сладко затомило сердце. И пошло стариковское веселье. Дед Андрон спустится на пол с застеленного ларя, зачерпнёт кружку, другую, отведаёт, посидит за столом, поглядит в оконце, выходящее на точок, приметит лохматого Дружка, бегущего в тайгу поохотиться, ухмыльнётся чему-то своему, покачает седой головой да взбирается обратно на ларь, дальше спать.

Таким и застал наставника вернувшийся через день Иван: тот лежал на спине, вольно раскинув длинные руки, и с посвистом храпел. Будить его парень не

стал, взял со стола порожнюю кружку да зачерпнул её полной из лагуна. Пиво оказалось в меру резким, прохладным и не приторным. Выпил залпом. Тепло разлилось по жилам. Сходил за второй, а там и за третьей. После этого Иван почувствовал, что его клонит в сон. Он сильно сопротивляться не стал, а нетвёрдой походкой, придерживаясь за стенку – ноги сами почему-то отказывались идти, будто заплетаясь в какой-то причудливо-ватный узел, вышел в сени и по лестнице забрался на чердак.

Огромный ларь у стропил они лишь недавно освободили от полурамок, унеся их на точок, наращивать корпуса, и потому сухой, вместительный, тонко пахнущий воском ларь лучше, чем любое другое место в доме, сейчас подходил Ивану. Он подобрал в углу чердака дырявый старый полушубок, бросил его внутрь и следом сам свалился туда.

Проснулся Иван ближе к вечеру, в голове легко и светло. Сладко потянулся да и отправился опять к деду. Вошёл в сумрак избы, негромко окликнул того. Никто не отозвался, только из-за печи вдруг раздался богатырский храп. Парень заглянул туда. Старик спал, отвернувшись к стене, а голова подвёрнуто возвышалась на подушке. Видимо, дед лежал на боку, да, потревоженный голосом, во сне хотел перевернуться на спину, однако сил хватило лишь управиться с головой. Иван постоял с минуту. Старик никак не просыпался, а будить его было неохота.

– Ну что ж тогда, – то ли сказал, то ли подумал Иван, – черпану-ка и я себе...

Сказано – сделано. И вот уж опять парень на ватных ноженьках лезет к себе на чердак.

На следующий день Иван раза три спускался с чердака и всегда заставлял деда Андрона богатырски храпящим на своём ларе. Оставалось только поддержать деда, зачерпнуть вкусной медовушки да на боковую. Так они попеременно и продолжали опораживать лагун: один дрыхнет, другой у медовухи, и наоборот. Это царство сонно-хмельного неведения рухнуло на четвёртый день после прихода Ивана.

Поутру бабка Ульяна, жена деда Андрона, опираясь на клюку, приковыляла к Еланцевым на подворье.

– Нюра, парнишка-ка твой где нонче? Не дома ль?

– Да нет, Ермиловна! Он у твоего на пчельнике. Четвёртый день уже пошёл.

– И мой запропастился где-то. Ране дак через день, как огурчик, проведаль, а ноне уж и не знаю, чё думать... Были б ноженьки хожалые, давно бы сбегала на Пихтовую.

– Ты сиди, схожу я. Оно и на Ванюшу не похоже, – обронила, притворяя каляжку, Анна Сергеевна.

Иван бы поспал ещё часок-другой, да шум внизу разбудил чуткого парня. Ругались у печи. Дед Андрон нетвёрдым хриловатым басом пытался успокоить свою собеседницу, что материным голосом выговаривала старику:

– Дедушка Андрон! День на дворе, а ты уж на ногах не держишься. Это чему ж ты научишь нашего Ваню? И где он, скажи на милость? Никак в деревню за зельем отправил?

– Побойся Бога, Нюра! Откуль мне знать, где твой сын? Сколь уж дён один я здесь? Ступай, девонька, с миром, а я покуль отлежусь, – старик указал Анне Сергеевне на открытую дверь в сени. – Как говорится: вот Бог, а вот порог. Сту-

пай, ступай, ищи в деревне, он там, небось, с девками ватажит. Нужно, и я тебе пособил бы, да вишь, как худо мне...

Они вышли в сени и едва лоб в лоб не столкнулись со спускающимся по лестнице Иваном. Мать от неожиданности потеряла дар речи, а дед быстро глянул на помощника, всё понял и наоборот повеселел:

– Видишь, девонька, жив и здоров твой Иван! И, замечу, тревёзый! Гляди: ни в одном глазу! А то заладила: спаиваешь, спаиваешь. Такого, пожалуй, споишь! Делал-то чё там, Ваня? Не то ли, чё я наказывал давеча? – победно закончил дед Андрон и спрятал в бороду хитрую ухмылку: так вот, оказывается, в чём причина подозрительно скорого опустошения моего лагушка. Ай да помощничек!

В первые мгновения парень нерешительно приостановился на нижней ступеньке и, переводя растерянный взгляд с матери на старика, не знал, что и ответить, однако быстро нашёлся.

– Да, деда, полурамки все перебрал, худые в сторонку отложил. Остальные в переноску поклат.

– Покажи-ка, сынок, свою работу, – Анна Сергеевна решительно поставила сапожок на ступеньку. – Давай, взбирайся. Я за тобой...

Ивану ничего не оставалось, как опять лезть на чердак. Мать сразу направилась к ларю, ощупала смятый полушубок.

– А ведь он ещё тёплый, сынок, – покачала головой Анна Сергеевна. – Теперь укажи, где твоя переноска, шибко мне любопытно поглядеть на полурамки... Не учишь, Ванюша, врать родителям. Да и никому тоже...

Женщина пристально посмотрела в помятое лицо сыну. Иван не выдержал материнского взгляда и отвёл глаза.

– Ну, так что, забирать мне тебя отсюда или как? – обратилась Анна Сергеевна в присутствии деда Андрона к Ивану.

– Не-а, мама. Я больше не буду...

– А кто тебе даст? – дед Андрон старался придать своему голосу больше строгости, но у него это не очень получалось. – Нужно, Нюра, сделаем так: я сливаю остатки пива в бидон, ты уносишь моей бабке на хранение. Мы с Ванюшей займёмся осмотром семей. Не оттянули ли маточников наши пчёлки. А то роёв нам тока не хватало!

– Пушай будет так, однако вечером, сынок, прибеги домой – отец баню истопит.

– Нужно баньки у нас нету? – обиделся было дед. – Вон стоит, у ключа. Сами стопим, с жару ишо и в запруде накупаемся...

– Да когда вам топить-то? Сам же рассказываешь: улы надобно глядеть. – Анна Сергеевна помолчала с минуту и неожиданно улыбнулась: – Оно и вправду, Андрон Савватич, ты и впрямь как есть Пчелиный Вождь.

– Да уж скажешь, девонька, – откликнулся явно польщённый такими словами старик. – К чему, однако, вспомнила? Нужно я и сам-то всё уж позабыл. – Дед Андрон окинул повлажневшими очами изумрудные пики пихтача и вздохнул: – Ты ить, Нюра, соплюхой бегала в те годы, откуль бы тебе-то знать?

– Да нет, дедушка, тогда я уж в девках отплясывала... Помню, в каждой избе тогда только и было разговору: пчелиный вождь да пчелиный вождь... Всю деревню переполошил, – говоря это, Анна Сергеевна прошла опять в закуток у печи и обернулась к хозяину: – Давай, Андрон Савватич, сливай медовуху, а то мне домой пора.

Вечером, после ядрёной баньки с купанием в пробегающей Топкуше, сидели в поздних летних сумерках в ограде за столиком под берёзой отец и сын и швыркали из блюдец горячий чай из самовара. Никита Иванович брал кончик свисающего с плеч махрового полотенца и поминутно вытирал чистый пот со лба, протирал глаза и обмакивал шею. Иван своё полотенце давно уже отложил на край скамьи: молодое упругое тело обсохло едва ли не сразу по выходу из низенькой баньки.

– Папка, расскажи про Пчелиного Вождя, – спросил отца Иван.

– А ты откуда слышал? – разомлевший от бани и чая Никита Иванович лениво повернулся к сыну.

– Мама нынче деда Андрона так величала. Я у деда потом спросил, а он лишь отмахнулся, – Иван весело передразнил старика: – Нужно тебе, помощник, об этом знать рановато!

– Тогда понятно, – отец отпил из блюдечка, остаток чая выплеснул на траву и перевернул посудинку вверх дном. – Всё, баста! Напился, аж в ушах хлюпает. Ну так слушай, сынок.

Сказывают, дед Андрон при пчёлах с самого рождения. Пасека ихняя потомственная, поставил ещё дед Андрона. Там они и обитали. И вот в Гражданскую войну, летом, году в этак восемнадцатом, отлучился Андрон по делам в деревню, а вернувшись, смотрит – на траве во дворе следы крови, и ведут они напрямиком в сарай. Он за вилы, что стояли у прясла, и туда. Не успел открыть дверцу, а ему в пузо дуло револьвера: «Не шуми, пристрелю! Вилы-то убери». Из тени вышел худой мужик в рубахе с засохшей кровью на рукаве, одних примерно лет с Андроном и, приказав тому сесть, где стоит, оглядел ещё раз всего с головы до пят. «Ты – хозяин?» Андрон кивнул. «Я у тебя долго не задержусь. В уезд в ревком надо», – мужик пристально и строго посмотрел Андрону в глаза. Тот взгляда не отвёл. «Здесь такое дело. Товарищ у меня ранен тяжело. Он там отлёживается, – мужик кивнул в сторону сеновала. – С собой взять не получится, живым могу не довести... Вручаю тебе до полного излечения. И смотри мне, если что – из-под земли достану!» – угрожающе закончил комиссар. «Больно-то не страшай, командир, – Андрон поднялся с пола. – Лучше веди к больному, осмотреть надобно».

Раненый оказался возрастом чуть моложе Андрона, звали его Власом. Пулевое отверстие в плече подоспевшая Ульяна промыла, обмазала целебной мазью, сотворённой из дёгтя, местных трав, корешков и прополиса; переодели красноармейца в чистое бельё и уложили на солому в пустовавшем летом омшанике, подальше от ненужных глаз. Комиссар к вечеру ушёл. Через четыре дня у заворок возникли трое верховых казаков. Погарцевали на конях, погикали, зычными голосами потребовали к себе хозяина. Перепуганная Ульяна дрожащими руками отворила заворки, казаки проехали во двор, там спешили и подступили к Андрону: «Хозяин! Слух прошёл, что ты прячешь у себя то, что нам шибко нужно и чего мы по всей округе обыскались!» Андрон внутренне насторожился, весь подобрался, однако виду не подал, только выбрав момент, обернулся к жене: «Ты бы, Уля, шла в избу. Нашто тебе слушать мужские дела». Жена тихонько попятилась и растворилась в дверях. Андрон вздохнул с облегчением: «Нуждо и управлюсь теперь-то...».

«Так ты пошто, хозяин, не кажешь нам, за чем мы прибыли? Аль самим поискать?» – «Воля ваша, ищите...» – «Мужик, аль ты не понял: мы ить шуткуем, – осклабился чубатый, с окладистой бородой казак. – Ишо бы мы здеся не гремели

крышками твоих лагушков. Сам уж носи медовушки. Шибко отведать хочется. Народ хвалит». У Андрона гора свалилась с плеч, он шумно выдохнул, кулаки полегчали. «Энто мы, ребята, со всей милостью. Вам по ковшичку али бадейку нацедить?» – «И по ковшичку, хозяин, и бадейку в дорожку нацеди. Нам ить энтих краснопузых ишо ловить, не переловить, – весело заготовали разом подобрешие казаки. – И закусочки какой не обессудь в торбу покласть. Тогда уж ввек не забудем твоё хлебосольство!»

Казаки, разговевшись, уехали с песнями восвосяи, а Андрон прошёл через точок к омшанику, в приоткрытую дверь из которого от порога выглядывал Влас с револьвером в руке. «Прибери. Не понадобится, – пасечник кивнул на оружие. – Умчались твои недруги. Айда обедать да пчёл глядеть будем».

До осени, до полного излечения пробыл Влас на пасеке. Пособлял не только с пчёлами, но и помогал управлять скотину и домашнюю птицу. В первый раз понаблюдав, как, обрядившись в длинный белый, заляпанный пергой халат и шляпу с сетчатой маской, ловко и сноровисто орудует Андрон с дымарём, стамеской, колодами и рамками, красноармеец в шутку назвал его пчелиным вождём. И потом уже всё оставшееся до ухода с поселья время иначе и не обращался к новому товарищу.

Прошло с десяток лет. В коллективизацию Андрон, видя перегибы и сведения личных счётов, когда зачастую безвинных людей по чьим-то подлым доносам нарекали врагами народа и в лучшем случае высылали на севера, а в худшем те исчезали бесследно, так вот, умный мужик, не дожидаясь, когда за ним придут, отписал всё своё имущество, вместе с пчёлами и скотиной, в колхоз. И на какое-то время обезопасил себя. Однако парторг колхоза, лодырь и природный пролетарий Демьян Васильевич Шелудько свою неубывающую классовую нелюбовь к таким крепким хозяевам, как Андрон Савватич Бабин, оформил в очередной донос, и однажды ночью на пасеку, освещая фарами дорогу перед собой и сбив заворки, въехал воронок. Полусонного Андрона скрутили, втокнули в клетку и увезли в Усть-Каменогорскую тюрьму. Сидит он в переполненной камере сутки, трое, неделю. Других таскают на допросы, кого-то уводят с вещами, а про него будто бы забыли. Истомился мужик неопределённостью. Иной раз такая тоска, хоть руки на себя накладывай! Однако Андрон не из таких, за себя он будет стоять до последнего. И вот лязгнули в очередной раз металлические затворы, и конвоир выкрикнул его фамилию.

Кабинет, куда привели арестованного, ничего примечательного собой не представлял: выкрашенные в грязно-зелёный цвет стены, зарешёченное оконце над широким столом следователя, тусклая лампочка на потолке и яркий светильник на обитом сукном столе, прикрученный к полу стул. «Проходи, садись, – следователь, не поднимая головы, продолжал что-то писать в раскрытый журнал. – Давненько, однако, мы не видались, Андрон Савватич». Андрон, пока ещё не очень понимая, что здесь происходит, всё же сел на жёсткий стул. Следователь наконец-то оторвался от писанины и поднял голову. У Андрона обессиленно опустились руки. Перед ним сидел давний его постоялец: красноармеец Влас. «Вообще-то, это не моё заведенье, – Влас обвёл взглядом угрюмое помещенье. И неопределённо махнул рукой в сторону зарешёченного окошка: – Моё – там, выше. Но как-то смотрю бумаги, а в них знакомая фамилия. И вот я здесь. Это кто ж такой ваш парторг, что строчит доносы на хороших людей? Привезут, поговорим... – Влас

встал из-за стола, обошёл кругом и крепко обнял Андрона: – Ну, здравствуй, Пчелиный Вождь! Сейчас попьём чайку, и ты – домой. Отправлю на той же машине, что привезла тебя сюда. Только теперь поедешь в кабине, чтобы все видели, как Советская власть ценит своих настоящих помощников»...

Вот такая история, – подытожил свой рассказ Никита Иванович. – Вся деревня в тот день от мала до велика высыпала на дорогу встречать Андрона.

– Что же стало с парторгом?

– А мы его больше и не видели...

До конца лета работал на пасеке Иван, а в сентябре парень поступил на курсы механизаторов, которые через какое-то время и окончил с отличием.

7

Запоздалый жаворонок, будто на невидимой ниточке, завис над лугом и купался в щедрых солнечных лучах, отталкиваясь серыми крылышками от упругого знойного воздуха. При этом пичуга выдавала такие переливчато-ликующие гимны жизни, что остаться равнодушным к ним было невозможно. Семнадцатилетний Иван и одиннадцатилетний Юрка вместе со взрослыми гребли и свозили душистое, с засохшими цветками сено к месту намеченной постановки будущего колхозного стога. Старший брат горкой раскладывал копёшку на волокуше, подсаживал младшего верхом на коня, вручал вожжи, и Юрка, покрикивая, правил к середине выкошенного луга, где мужики и бабы сноровисто поднимали зарод. Вот уже готов и очередной, восьмой по счёту воз, теперь надо отвезти, а там – время к обеду – можно выпрячь на часок Гнедого из волокуш, сводить на водопой, да и самим искупнуться в низинке, где в ивовых зарослях плутает говорливая Топкуша. Иван воткнул вилы в мягкую россыпь кротороины и, прежде чем отправиться следом за братом, огляделся, прикидывая, сколь ещё выйдет копён из неубранного сена: «Возить до вечера...» – мелькнула мысль, но додумать до конца парню не дал истошный Юркин крик:

– Братка, Гнедой понёс!..

Иван вскинулся, и на миг всё внутри у него похолодело: конь, высоко взбрасывая передние ноги, мчался прямо на недалнюю межу – глубокую рытвину, разделяющую луг надвое. То ли шлея по неосторожности попала под хвост, то ли слепень с разлёта впился во влажную ноздрю Гнедому, но теперь лошадь, как сбесившаяся, неслась куда глаза глядят, и опрокинуться – дело считанных минут. А то, что кто-то там у неё наверху вжался в круп, так ему же и хуже. Юрка давно уже бросил вожжи и, вцепившись мёртвой хваткой в косматую гриву, раскачивался, как маятник, могущий в любую секунду сверзиться вниз: либо под копыта или волокушу, а в лучшем случае – на одну из боковых сторон, что, опять же, не исключало того, что мальчишка при падении мог сломать шею...

Обезумевшая лошадь неожиданно сделала большую петлю и, не сбавляя скорости, снова полетела на межу. Однако этот манёвр случился как нельзя кстати – он дал Ивану возможность броситься наперерез и первым оказаться перед злополучной канавой. Парень изловчился левой рукой поймать коня за удила, а кулаком правой в сердцах так саданул Гнедого, что ненароком угодил в неприметную ямочку сбоку лба и выше сливового кровавого ока. Лошадь тут же рухнула на передние ноги и завалилась набок, а Юрка кувырком слетел в кошенину.

Подбежавший первым бригадир испуганно, по-бабьи всплеснул руками:
– Ты чё ж, парень, наделал-то? Решил ведь коня!

Ещё до конца не пришедший в себя Иван ничего не ответил, а только всё так же продолжал стоять над убитой лошастью, тяжело дыша и вращая широко раскрытыми глазами. Юрка поднялся с земли и, прихрамывая и всхлипывая, подошёл и робко встал рядом с братом. Одним из последних приковылял к месту происшествия дед Поликарп. Он протиснулся через толпу, сразу оценил ситуацию и, приказав окружающим освободить пространство, вытащил из-за голенища кирзового сапога нож и перерезал животному горло для того, чтобы хоть какая-то кровь успела стечь.

Теперь уж Ивану и Юрке было не до покоса. Прибежали домой, огорошили обедавшего отца. Тот нервно отложил деревянную ложку, отодвинул миску с недоеденной похлёбкой, встал из-за стола, велел Анне Сергеевне накормить сынов и потом всем вместе поспешать к нему на луг подсоблять. Сам же, взяв в чулане топор, острый тесак и чистые кули под картошку, сложил всё во вместительную тачку и укатил разделять тушу.

Денег с продажи мяса на покрытие ущерба, причинённого колхозу гибелью коня, конечно же, не хватило; пришлось забить годовалого бычка и свезти на базар в город, распродали ещё кое-чего по мелочи. Власти дела никакого возбуждать не стали, жёсткие времена отходили в прошлое, теперь страна управлялась яйцеголовым плясуном, и задачи народу поступали несколько иные: развенчать культ личности, обязательно построить коммунизм и непременно не только догнать, а и перегнать Америку...

Кусты сирени откипали, клубясь вдоль забора, дурманя всё вокруг – особенно это было заметно по празднично одетым парням и девочкам, мужикам и бабам, дружно сидящим в тенёчке под вековой берёзой за длинным столом с обильной закуской и уже полупустыми графинчиками с вином и домашним пивом, пузатыми бутылками с прозрачным самогоном. Они, скорее всего, и являлись причиной осоловелости некоторых гостей, а головокружительный запах сирени только подсыпал задорных искорок веселья в эту сельскую гулянку. Во главе стола сидел повзрослевший Иван – это именно его сегодня, 24 мая 1962 года, провожали на службу. На минувшей неделе парню исполнился двадцать один, и, по всему, Иван давно уже должен быть в рядах Советской Армии. Однако по неизвестным для Ивана обстоятельствам призыв трижды откладывался. Градус застолья дошёл до той степени, когда единая компания начинала потихоньку распадаться на отдельные очаги забористых частушек, задушевных песен и сердечных разговоров.

– Пробилась я в кабинет к самому главному ихнему военному, – Иван невольно прислушался к голосу сидевшей за столом наискосок от него матери. Анна Сергеевна, в праздничной шёлковой блузке с рюшками, опрятная и раскрасневшаяся от рюмки вина, рассказывала внимательно слушавшей её тётке Лиде: – И прямо с порога выдала: почто, дескать, сына мово всё отставляешь от службы. Пойми, мил человек, материнское сердце: парень ведь не замер на месте – взрослеет, девки на него заглядываются. Вдруг какая да в подоле принесёт гостинца, а Ивана заместо семьи – да в солдаты! Ребёночек сиротой при живом отце окажется. Шутка ли, мол, три-четыре года в разлуке... А по-доброму, отслужит в свой срок – семьёй

обзаведётся вовремя, а то с этой вашей волынкой мне и внуков не дожидаться! Начальник вышел из-за стола, усадил меня на стул, спросил фамилию и адрес. Порылся в бумагах и говорит: «Мы сына твоего не брали по ходатайству вашего председателя. Больно важен твой Иван как механизатор для колхоза. Ну а теперь, коль такое дело – ждите повестку».

Иван усмехнулся, покачал стриженной головой. Уж он-то знал точную причину, по которой мать ездила в город в военкомат: забрюхатевшая неизвестно от кого Лизка с зареченского края Зимовья. Иван захаживал к той по осени, иногда задерживался и до утра. Ну да ведь и после него другие ребята не очень-то чтобы оставляли красавицу в одиночестве. Пойди теперь разберись! И хотя сама бывшая полюбовница теперь в Иванову сторону даже и не поглядывала, да мать, видимо, решила на всякий случай подстраховаться и наладить сына в армию: и долг Родине отдаст, да и здесь всё рассосётся-успокоится.

Наутро провожать призывника в город вызвались отец и дядька Роман, оба ещё изрядно хмельные. До Быструхи с песнями домчались на бричке, там пересели на попутный грузовик и ко времени поспели в город на пункт сбора в тенистом дворе военкомата. Пока то да сё, дядя Роман и отец пропали куда-то, однако скоро, со слегка заплетающимися языками, объявились вновь.

– Папка, а вы где были? – успокоился встревоженный их отсутствием Иван.
– Сейчас построение и распределение, а вас нет...

– Мы, сынок, раздавили пузырь беленькой, чтоб тебе служилось «от и до»! – весело откликнулся Никита Иванович.

– Ванюша! Служи так же, как мы с твоим батькой воевали! – покачиваясь на месте, произнёс дядя Роман и, пьяно икнув, похвастался: – Я до немцев-то не дотянулся – больно поздно родился, зато косоглазых на Курилах покروшил – не приведи господь сколь!

– Не поминай, Ромаха! Иван сто раз уж слышал про все твои подвиги, – отец приблизился и положил свои узловатые тяжёлые руки на плечи парня. – Дай-ка, сынок, я тебя расцелую напоследок. Главное – держи марку! Наша родова не из последних!

– Всё, папка, офицер вышел... Вы опнитесь покуда вон за тем кустом, – Иван указал на отцветающую черёмуху за плацем и торопливо добавил: – Гражданским здесь быть не положено.

Свояки, приобняв друг дружку и покачиваясь, удалились.

– Товарищи призывники! – зычно скомандовал подтянутый капитан в фуражке с малиновым околышем. – В одну шеренгу становись!

Парни быстро исполнили приказание. Офицер встал перед строем и протяжно крикнул:

– Ра-а-авняйсь! Смирно!

Призывники подтянулись и замерли в шеренге, приготовившись слушать дальнейшие указания командира. И тут случилось совсем уж неожиданное. Иван едва ли не первый отметил краем глаза, как от куста к офицеру, выписывая хромовыми сапогами причудливые пируэты, направился дядя Роман. Подойдя к капитану со словами: «Кто же так командует, служивый?» – мужик бесцеремонно отодвинул того в сторону, по-атамански развернул плечи, шумно втянул в лёгкие побольше воздуха и, рывкнув: «Смирно, мать вашу!» – в ту же минуту свалился кулём на расчерченный на квадраты плац и захрапел.

Ни один мускул не дёрнулся на будто высеченном из камня лице капитана. Он, даже не глянув на лежащего на спине с раскинутыми «как море широко» ручищами и с присвистом похрапывающего мужика, обошёл спящего и сурово воззрился на повеселевшую шеренгу призывников.

– Чей родственник? Два шага вперёд!

Иван вышел из строя.

– Забирай и вези домой! Обратно – через три дня! И чтоб как штык! Без приключений мне! Остальные, равняйся, смирно! Вы поступаете в моё распоряжение. Служить будете в Актюбинске, во внутренних войсках. Слушай мою команду! Направо! По машинам бегом марш!

Спустя три дня Ивана уже с другой призывной партией увезли с собой покупатели в чёрных бушлатах аж на самый край земли – во Владивосток, на Тихоокеанский флот. В этот раз провожали сына Анна Сергеевна и трезвый как стёклышко Никита Иванович. Чувствуя свою вину, отец больше молчал, лишь иногда раздумчиво покачивая головой, когда жена принималась в который раз костерить непутёвого братца.

– Угораздило ж тебя, Никитушка, брать с собой этого буяна!

Мать только что узнала, что служить Ивану не три года, как остальным парням, с прошлого раза. Теперь бедолаге выпало долгие четыре года тянуть лямку, и не на твёрдой, надёжной земле под ногами, а на каком-то неведомом океане, которого женщина сроду в глаза не видала, но уже боялась пуще чёрта.

– Ой, да Ромаха! Вот откаблучил братец дак откаблучил... Вернёмся домой, всюю морду ему расцарапаю! Охти мнешеньки, горе-то какое, Никита!

– Како тако горе? Парень мир увидит, себя покажет...

Отцу и так было не по себе, а тут ещё этот зуд жены, вот он и не нашёл ничего лучшего, как округлить свою речь словами:

– Не на войну же, Нюра, сына провожаем...

Никита Иванович брякнул и запоздало прикусил язык: «Чего это я бензину-то в огонь плескаю? Счас будет!».

Однако мать, окинув каким-то странным и нездешним взглядом обоих мужчин, ничего на это не сказала, неожиданно сделала глубокий вдох и вся как-то разом осунулась и сникла. Ивана полоснула по сердцу такая жалость к матери, что он подхватил её и крепко прижал к груди.

– Ничего, мамочка, не случится. Я здесь от ребят слышал, что морякам обязательно дают отпуск. А тем, кто отличится, даже и не один.

8

Роман Сергеевич, ах, Роман Сергеевич! Уродится же такой человек: где ни пройдёт, непременно что-нибудь да цапнет, опрокинет, потопчет, обломает, а уж сколь раз им слышано вослед да и в глаза колото не однажды: и недотёпа, и недодел, и – «откуль у тебя руки растут, оттуль у добрых людей обычно ноги свисают...». А Ромахе всё нипочём, и не поймёшь его: то улыбается во весь рот на сказанное, а то хватается за кол, но это в прежние годы бывало редко. Однако после войны с Японией, откуда мужик вернулся без единой царапины и с медалью «За отвагу» на груди, кукушку у него сбило окончательно. Трезвого ещё можно было терпеть, но вот пьяный он сам терпеть никого не мог: по любому пустяку лез в драку, да так,

что приходилось связывать верёвками и бросать на ледник в сарае, чтобы Ромаха охолонул.

Во второй половине пятидесятых, когда у Романа Сергеевича родилась третья дочь, и в тесной избушке, оставшейся ему от матери, стало уж совсем тесно, братья и сёстры уговорили его ставить новую просторную избу. Роман выписал в колхозе и заготовил лесу, родня по обыкновению организовала «помочи», и в складчину своими силами в четыре дня возвели дом на высоком и красивом месте в конце Нагорной улицы.

Как только накрыли тёсом крышу, справили новоселье. Роман, восседая во главе стола, искренне радовался и не уставал благодарить заботливую родню, подливая им зелена вина, а сам лишь осторожно пригубливал из своей чарки, так сказать, для поддержки. А когда над деревней иссиня-чёрное бархатистое небо украсили кружева золотистых созвездий, проводил уважаемых гостей самолично и под локоток каждого с нового двора до проезжей дороги.

Однако поутру, не успели ещё толком окрестные петухи прочистить свои певческие глотки, как весь Нагорный край Зимовья огласился истошным бабьим криком и отборным матом пропившего всю-то ноченьку Ромахи:

– Да растуды твою в гробину мать! Бойцы! Занять круговую оборону! Примкнуть штыки! Ни один самурай не должен уйти! В атаку!

Прибежавшей на скандал Анне Сергеевне открылась картина, от которой пошли мурашки по коже. Прижимая к груди завёрнутого в пелёнку младенца, простоволосая, в ночной рубашке и босая жена Романа, Полина, безучастно стояла в сторонке на склоне, две заплаканные девочки в помятых платьицах пугливо жалась к матери, а толпа мужиков рассыпалась полукругом на травянистом склоне метрах в пятнадцати от крыльца. На нём с одностволкой наперевес, чуть раскорячась и покачиваясь, стоял младший брат. Морда опухшая, волосы всклокочены, рубаха расстёгнута до пупа, мускулистая волосатая грудь обнажена, левая нога в хромовом сапоге, на правую, босую, кое-как намотана портянка.

– Роман! Опустит ружьё, неровен час – стрелит! – сирым голосом, но достаточно громко увещевал буяна стоящий ближе всех дед Поликарп. – Давай-ка лучше сделаю так: ты прибери эту пукалку, и айда до моей хаты. У меня в подполье припрятано пол-литра беленькой. Разговеешься...

– Купить поллитровкой русского солдата! Как жажну, старый хрыч! Мокра места не оставлю!

– Рома-а! Это я, твоя сестрёнка Нюра. Успокойся, братишка! Я подойду, поговорим...

Никто не заметил, как в руках у Ромахи оказалась бутылка с какой-то жидкостью. Из горлышка наружи свисала горящая тряпица. Одностволку буян, чтоб не мешала, держал под мышкой, всё так же стволом на людей.

– Косоглазые уроды! Самурайская погань! Натё-ка, выкусите! Всё спало!!! А вам – хрен на колёсиках в чёрную ж...у!

Мужики и глазом не моргнули, а бока брёвен, остро пахнущие стружкой и новосельем, дружно вспыхнули от бензинового пламени из разбитой от удара об стенку бутылки. Дом взялся, задымил крыльцо, но стоящему на нём Ромахе хоть бы что. Он всё продолжал что-то выкрикивать и водить ружьём из стороны в сторону.

– Братик! Беги с крыльца! Сгоришь!..

Анна Сергеевна, не раздумывая, бросилась к горящему дому.

– Не стреляй, братишка! Я к тебе!

Гулкое эхо выстрела раскатилось по деревне. Анну отбросило назад, в порыве женщина поднялась с земли, сделала два неуверенных шага вперёд и уткнулась лицом в цветы ромашки. Мужикам этой заминки хватило, чтобы самым резвым взлететь на горящее крыльцо, выбить ружьё у Ромахи из рук и скрутить самого. Остальные набежавшие мужики и бабы принялись забрасывать землёй стены сбивая огонь, пока подоспели другие с вёдрами и бадейками с водой. Минут за двадцать пожар потушили...

Примчавшемуся с фермы Никите Ивановичу к связанному шурина подойти не дали: ты, мол, его убьёшь, а отвечать как за путнего, и потом, видишь, он стреножен и беспомощен.

– Дак развяжите его, ставьте на ноги, а там – моё дело. Случится что с Ньюрой – не прошу!

– Жива твоя Анна, тока грудь вся посечена, – подошёл к Никите Ивановичу Поликарп. – В Быструху её, в больницу бы: раны промыть да дробь выковырять. Мы уж и носилки изладили нести до сельсовета.

Но от больницы отказалась сама стонущая Анна Сергеевна, обронив с носилок подошедшему мужу тихо, но твёрдо:

– Ничё, отлежусь дома. Увезёте туда, а там милиция станет допытываться: кто да зачем стрелял? Рому заберут, посадят. Кому от этого легче. – Анна Сергеевна со стоном выдохнула: – Хоть и дикошарый, а брат он мне. Отошли-ка Ванюшу за Матрёной-ведуньей, пушай ступает к нам, пособит убрать эту треклятую дробь. Охти мнешеньки, больно-то как!..

С неделю в горнице на топчане, укрывшись дерюжкой, пролежала Анна Сергеевна. На уговоры мужа перенести её на деревянную, с узорными вензелями кровать она лишь отрицательно поводила головой: «Простынь гноем да кровью марать не стану. Да и на жёстком настиле раны меньше беспокоят и дробь лучше выходит...»

На третий день, после полудня, – Матрёна только-только извлекла прокалённой спицей остатние дробинки и обмазала раны густой мазью, сотворённой из дёгтя, сметаны, листьев подорожника и корня кровохлёбки, и тихонько покинула впавшую в забытьё больную, – на пороге вырос дюжий участковый. Лаврентий Ильич снял фуражку, негромко поздоровался со всеми, кто был в избе, а Никите Ивановичу пожал руку.

– Что здесь стряслось-то? – старшина кашлянул. – Я с Орловки ехал через вас в Быструху. У тамошнего управляющего дела были. На мосту Евдокия Платонова остановила, донесла, что намедни стрельба случилась: брат, дескать, сестру дробью издырявил...

– Тьфу ты, язва старая! Никак не уймётся! – озлился Никита Иванович. – Наплела она тебе, Лаврентий, всё было не так. Моя вина – стерёг ночью зайцев на огороде, повадились капустку грызть, пришёл утром домой, да забыл патрон из ствола вытащить и боёк спустить. Ружьё-то поставил у порога, сам на полати подремать чуток. А Ньюра наладилась полы мести, да не углядела, сдвинула ружьё, оно и стрелило. И надо же – прямо в грудь. Мы сразу к Матрёне, – хозяин кивнул в сторону стола, за которым старушка и ребятишки пили чай. – Она вот и лечит теперь...

– Ну-ну, – недоверчиво произнёс участковый, посмотрел пристально Никите Ивановичу в глаза. Тот взгляда не отвёл, лишь развёл руками: такая вот напасть...

Лаврентий Ильич потербил двумя пальцами гладковыбритый подбородок.

– Веди, Никита, в горницу к больной.

– Допрос снимать будешь? Она только уснула.

– Значит, разбуди. Допрос не допрос, а осмотреть и опросить потерпевшую я обязан.

Анна Сергеевна слабым голосом почти слово в слово повторила всё, что сказал муж. Лаврентий Ильич осматривать раны не счёл нужным, то ли избегая неловкости от разглядывания тех женских мест, кои могут быть доступны лишь законному супругу, то ли ему хватило беглого внешнего осмотра, чтобы сделать свои выводы, но спустя некоторое время участковый, пожелав Анне Сергеевне скорейшего выздоровления, покинул горницу. Никита Иванович коротко переговорил в сенях с ним о чём-то своём – когда-то они воевали вместе, и мужчины вышли во двор, где участковый взобрался в седло, кивнул на прощанье другу и пустил скорым шагом чалого жеребца.

Не успела осесть поднятая копытами пыль, как у калитки возникла Полина с детьми. Одета опрятно: ситцевая блузка, плисовая юбка, волосы убраны в повязанный на затылке платок, на крепких ногах новые туфли, на руках шёлковый конвертик со спящим младенцем. Льяные волосы у девочек заплетены в косички, конопатенькие курносые личики чистенькие, и лишь у обеих в голубеньких ясных глазах испуг. Да и сама Полина как-то робко и стеснительно протиснулась во двор, будто она что-то взяла без спроса, а возвращать назад боится.

– Здравствуй, Никита Иванович, – несмело начала она. – Мы к вам с повинной, – слышно было, как женщина обречённо вздохнула, набрала в лёгкие больше воздуха и почти выкрикнула: – Христом Богом прошу тебя – не сажай Романа. Прости его дурную головушку. Мне без отца деток не поднять. На коленях буду просить: не сажай мужа моего. И он пропадёт, и нам не жить...

С этими словами Полина, всё так же прижимая ребёнка к груди, не подбирая юбки, рухнула на колени, прямо на утоптанную тропинку. Побеспокоенная девочка проснулась в пелёнках и тоненько захныкала. Никита бросился к сношеньке, осторожно, дабы не задеть плачущего ребёнка, поддержал женщину под локти и поставил перед собой.

– Ну, чего нюни-то распустили. Аль участкового испужались? Дак он по другим делам заезжал.

Никита Иванович примирительно усмехнулся.

– На мою бы волю – скрутил бы бошку твоему муженьку, да в овраг убросил. Однако Нюра наказала не трогать Ромаху. Будем считать: повезло раздолбаю... Сам-то где прячется?

– На полянке за черёмухой сидит. Ты, Никита Иванович, не думай, что мы из-за участкового здесь. Мы уже подходили к вам, когда его увидели. Совпало...

– И муженёк сразу в кусты! Эх, Ромаха, Ромаха...

– Дак он подойдёт?.. Я Ольгу пошлю?

– Нет уж, Поля, подберёшь его обратной дорогой. Подальше от греха. Боюсь не совладать с собой. Пушай остудит, отойдёт душа хоть маленько, а там видно будет.

– Мне-то с моими дозволишь провести Ньюру?

– Не нынче. Она умаялась, спит, должно быть.

– Тогда мы пойдём, Никита Иванович. Прощевай покудова.

Полина, сгорбив по-старушечьи спину, отправилась со двора, покачивая на руках притихшую дочь. Однако у калитки обернулась и нерешительно спросила:

– А как же суд? На пути нам встретилась бабка Дуська. И настрашала: дескать, таперь уж непременно засудят твоего буяна. Там, мол, тебе и место – Роман-фулиган!

– Нашла кого слушать! Евдокия случайно капнет слюной на землю – вся трава вокруг выгорит. Да и что ихний суд: осудят и забудут. Ромахе надобно бояться нашего родового осуждения да поклоны класть покаянные, чтобы Аннушка оклемалась, – Никита Иванович, чувствуя, как кровушка вновь закипает, заторопил свояченицу: – Ступай уж, Полинушка, не бреди душу, – но тут же, словно вспомнив что-то важное, приказал: – Хотя опнишь-ка ещё с минутку... – Сказав это, мужчина быстрым шагом ушёл в дом и, вскоре выйдя из дверей обратно, подозвал к себе всё так же пугливо жавшихся к матери девочек: – Нате-ка вот, доченьки, по пряничку печатному – гостинец от тётушки вашей.

Девочки подняли свои голубенькие глазки на мать, та одобрительно кивнула, и лишь тогда они, прошептав робкое спасибо, подставили свои ладошки, принимая протянутые Никитой Ивановичем пряники.

Часть вторая

БАРХАТИСТОЕ НЕБО ВЬЕТНАМА

1

Багряный диск, оплавив вершины скалистых сопок, укатился за горизонт, напоследок бросив на поблёскивающую пятнами мазута бухту Завойко горсть золотистых лучей. Вахта закончилась, и теперь молодому матросу Ивану Еланцеву мечталось поскорее оказаться в кубрике, достать из рундука тетрадь и, устроившись удобнее, приняться за письмо на родину.

Мысли роем кружились в стриженной голове, однако едва матрос добрался до места и обмакнул перо ручки в чернильницу-непроливашку, как все они разом куда-то улетучились, и парень, кроме как «Здравствуйте, мои родные папа и мама, а также сестрёнка Зоя и братик Юра!», ничего больше из себя выдать не мог. Не писать же о том, как на три месяца раньше попал он к чёрту на кулички – в Петропавловск-Камчатский, вместо того чтобы, как положено, в течение полугода закончить учебку на острове Русском у бухты Кривой Рог и распределиться на какой-нибудь флагманский крейсер там же во Владике.

Да-а, оказия тогда случилась, не приведи кому. Ох уж эта дружба народов! На территории учебного центра через плац от их казарм располагались два трёхэтажных здания, в которых стояли койки в три яруса и были размещены четыре роты курсантов из дружественной в эти годы Индонезии. И что любопытно: наше военное руководство настолько задружилося с союзниками, что распорядилось, чтобы в их помещениях дневалили и наводили порядок советские сермяжные матросы. Приборка, мытьё полов и прочая безделица ребят не очень-то и тяготила. Какая разница, где нести нарядную службу! А индонезийцы, в основном детки пред-

ставителей высшей военной касты, полёживали себе на заправленных кроватях да покуривали, весело щечбеча на своём птичьём языке и наблюдая, как русские матросы ловко орудуют швабрами и вениками да грохочут кондейками с водой.

И вот однажды, когда земляк Ивана, Витя Стародубов из Алейска, мыл полы в кубрике и ему надо было освежить мокрой тряпкой под кроватями, индонезийский штурман, что пробросил свои ноги в армейских ботинках на койку напротив, когда Стародубов знаками попросил освободить проход, презрительно усмехнулся, однако ботинок не убрал. И, как ни в чём не бывало, вновь принялся рассматривать цветные картинки иллюстрированного журнала. Витя шваброй снизу поддел вытянутые ноги индонезийца и закинул на кровать. Тот, как ошпаренный, взвился пружиной с намереньем вцепиться холёными пальцами матросу в шею. Хлестким ударом в челюсть Витя сбил противника с ног. От соседних кроватей на подмогу товарищу сбегались возбуждённые индонезийские курсанты. Стародубов за шкирку выкинул поверженного штурмана из прохода на середину, обеими руками ухватился за углы коек на втором ярусе, подтянулся и приготовился лупить пинками сбегающих азиатов.

– Наших бьют!!! – заорал в коридор дневальный на тумбочке у входа, Толик Шевченко, и уже через полминуты расшвыривал низкорослых индонезийцев, пробивая себе путь к Стародубову.

Драка была массовой, на всех трёх этажах, жёсткой и скоротечной. Набежавшие на клич курсанты со всей русской яростью дружно навалились на втрое превосходящего численностью противника. Да так принялись месить союзничков, выбрасывая из раскрытых окон самых драчливых из них, что струхнувшему командованию, чтобы хоть как-то замять международный скандал, не оставалось ничего другого, как экстренно закруглить обучение и в шесть дней спроводить отчаюг в самые отдалённые гарнизоны. Мол, на месте доучитесь, да и по пути на морских просторах дурь-то быстро выветрится. А ежели, салаги, что на доньшке и останется, так по прибытию на корабль «годки» живо всё из вас повытрясут.

Иван покачал головой своим мыслям и вновь обмакнул подсохшее перо в чернильницу. Теперь он знал, о чём писать: о красивой и причудливой бухте, где на рейде покачивается их эсминец «Блестящий»; о городе, в котором, правда, ещё ни разу не был, но издали, с вахтенного мостика, в дымке не раз наблюдал его разноэтажные строения, приютившиеся у подножия сопок с белоснежными вершинами; о новых боевых товарищах и о том, что специальность у него самая подходящая: машинист. Однако уточнять, что машинист он трюмный, Иван не стал, помня наставления замполита Трифонова о неразглашении военной тайны. А так – машинист, он и есть машинист. И особистам, просматривающим всю отправляемую почту, придраться будет не к чему!

– Готов, салабон, к труду и обороне?

Размечтавшийся Иван не заметил, как возле него выросли трое «годков», то есть тех, кто служил уже четвёртый год. Самый крепкий из них, старшина первой статьи, по фамилии Король, усмехнулся и бросил прямо в растерянное лицо Ивану:

– Праздник у тебя сегодня – «банки будем рубить», – и Король подал условный знак двум своим сослуживцам.

Те дружно навалились на молодого матроса, пытаясь опрокинуть его на спину, чтобы задрать тельняшку и, собрав в горсть левой рукой и оттянув подраги-

вающую кожу на животе, ребром ладони правой бить по оттопыренному месту. Если молодой не сопротивлялся, как правило, следовало три больших удара, и матрос считался прописанным на корабле. А взбрыкнувшимся доставалось по полной. Однако взбешённый Иван набычился и расшвырял по койкам всех трёх «годков». Мало того, не убеги они на палубу прочь из кубрика, потерявший над собой контроль парень запросто мог бы и покалечить кого-нибудь из пришедших прописывать его.

Иван тяжело опустился на пробковый матрас и огляделся. Смятый и забрызганный кляксами из разбитой чернильницы тетрадный листок валялся на полу рядом со сломанной ручкой. Большую чернильную лужицу в проходе надо было срочно подтирать, пока она не высохла, потому как тогда пятно отскабливать будет труднее. Парень вздохнул и направился за кондейкой и шваброй – наводить порядок.

Следующие три дня для Ивана прошли спокойно, а на четвёртый, когда напряжение, как ему показалось, спало, на утреннем построении Король дал матросу наряд на приборку кормового галюна.

Одетый в парусиновую робу Иван приоткрыл выходящий на палубу иллюминатор и, напевая популярную песенку о синем море, принялся драить полы и протирать переборки. Он и не услышал, как скрипнул открываемый люк и в просторный галюн скользнули трое «годков»: старшина первой статьи Король, его правая рука старший матрос Тамбусов и раскормленный, как поросёнок, кок Галлиулин.

– Ну, чё, куда ты теперь, такой борзый? – криво ухмыльнулся, выступая вперёд, качок Тамбусов. – Квитнёмся по полной!..

Больше ничего сказать старший матрос не успел, так как Иван схватил его за плечи и от души ушиб противника мотнувшейся головой о шпангоут – тавровую балку, протянутую, как ребро жёсткости, поперёк борта. Тамбусов обмяк и поплыл. А Иван тем временем поймал Короля, скрутил и с силой сунул головой в дучку, в постоянно стекающую воду. Король задёргался и на карачках, удерживаемый сверху насевшим на него Иваном, пробовал ползать вокруг металлического унитаза.

Татарин-кок отбежал к задраенному им же при входе люку, но открыть его не получилось, и Галлиулин, потрясывая солидным животиком, в панике понёсся к открытому иллюминатору. У него почти вышло вылезти, однако толстый зад застрял в проёме. Подоспел Иван, сдёрнул с того брюки, со злости врезал кулаком по оголённой ягодице – удар ушёл, как в подушку, ягодица завибрировала, а боли-то коку никакой! Вот Иван и кусанул раза три в кольшующийся зад, да с таким смаком, что бедный кок с воплями перевалился на палубу.

На шум прибежал дежурный офицер, открыл люк и резко командовал:

– Смирно! Что здесь творится!

Иван как-то разом охолонул, ярость улетучилась. Он встал посреди галюна и вытянул руки по швам.

– Товарищ капитан-лейтенант! – только что вынувший мокрую голову из дучки Король махнул рукой в сторону Ивана и принялся плаксиво оправдываться: – Это всё он – первый начал!.. Мы просто зашли по нужде, а этот бешеный как кинется...

Оклемавшийся Тамбусов и вернувшийся с палубы вслед за офицером и незаметно поправляющий на поясе брюки, весь красный от пережитого кок дружно закивали, подтверждая сказанное старшиной первой статьи.

– Тэ-эк! Вот, значит, как ты начинаешь службу, матрос? – офицер вперил бесстрастные глаза в понурого Ивана, подобрался и звонко, как металлом по стеклу, резанул: – Равняйся! Смирно! Слушай приказ. О грубом нарушении устава внутренней службы матросом Еланцевым будет доложено командиру! Старшина первой статьи, препроводите нарушителя в кубрик до окончательного решения в отношении его.

– Есть, товарищ капитан-лейтенант! – злорадно воскликнул окончательно пришедший в себя Король и, ухмыльнувшись, смерил презрительным взглядом Ивана: – Шагай, матрос, за мной. И не отставать мне, салага!

На вечерней поверке экипажа матросу Еланцеву перед строем было объявлено десять суток гарнизонной гауптвахты. Утром прибыл специальный катер и забрал арестованного Ивана в город.

После возвращения с губы на корабль «годки» не оставили Ивана в покое, особенно дошкурял неугомонный Король. Иван терпел самую малость и однажды, в закутке на баке, где обычно курили старослужащие и куда первогодкам заходить категорически запрещалось, подкараулил, когда старшина первой статьи оказался один и только раскуривал папироску, возник ниоткуда, наскочил на того сбоку, прижал к переборке и зло выдохнул прямо в перекошенное лицо Короля:

– Хоть раз ещё залупнёшься, выйдем в море, устрою тебе досрочный дембель – выброшу за борт! Помни это, кусок! – и, встряхнув напоследок, Иван отпустил обмякшее тело Короля. И так же беззвучно растворился на палубе.

После этого случая «годки» отстали от Ивана, и никто из них больше не пробовал «прописать» его на корабле: всем и так ясно, что эта необузданная деревенщина без всяких «банок» здесь давно уже не чужой. Положенную по службе работу матрос Еланцев исполнял старательно и усердно, вперёд не лез, но и в хвосте никогда не плёлся, а что касается так называемых неуставных отношений, то с этим к парню лучше не подходи – враз пришибёт. Корабельное начальство это заметило и вскоре рекомендовало Ивана в комсорги эсминца «Блестящего». И потекли, как изумрудные волны за кормой, дни и месяцы флотской жизни.

Однажды вызывает в неурочный час Ивана к себе в каюту секретарь партийной организации, капитан второго ранга Залесский и предлагает комсоргу найти в экипаже добровольцев для сопровождения тральщика в подарок от Советского Союза дружественному Вьетнаму, вот уже несколько лет ведущему неравную войну с Америкой. Однако добровольцев не отыскалось, и пришлось Еланцеву, как человеку ответственному и надёжному, предложить свою кандидатуру. Вторым неожиданно вызвался Рафик Амирзянов, добродушный татарин из-под Свяжска. Сослуживцы недоумевали: тебе-то, мол, Рафик, это зачем? До дембеля меньше года, самое время шевроны на шинельшивать да ленточки на бескозырке гладить, а ты в какие-то южные моря? Амирзянов отшучивался: дескать, хочу домой к себе на Волгу приехать загоревшим, как на черноморском курорте, а то, мол, когда ещё доведётся побывать так близко к экватору.

Добровольцев на катере отвезли в Елизово, где они месяц прокантовались в гостинице, а оттуда прямиком на судовой доделывать тральщик, у которого к

их прибытию в наличии был один только корпус. Сформированный экипаж, а в него входили командир, два мичмана и тридцать три матроса, среди которых трюмные машинисты, дизелисты, электрики, механики, боцманы, рука об руку с ремонтниками за короткое время оснастили судно оборудованием, установили новые четырёхствольные зенитки, скорострельные пушки и пулемёты и к указанному сроку вышли на пробные испытания. Выполнив все вводные на отлично, без лишнего шума снялись с якоря, и вот уже боевой катер бороздит океанские просторы по направлению на юго-восток, к Индокитаю.

2

К пирсу простенького вьетнамского причала тральщик подходил, когда корабельные рынды отбивали очередные склянки. Тропическое солнце плавилось в зените. До берега оставалось каких-то тридцать метров, и тут по левому борту из-за ядовито-зелёной стены джунглей выскочили два американских пятнистых вертолётa. Шли они уверенно и низко. Капитан тральщика старлей Колобов в течение нескольких секунд по радиации связался с командованием флота и запросил разрешения открыть огонь по этим хищникам. Моряки замерли, словно перед прыжком через пропасть. Каждый готов был молниеносно занять своё место, а там всего несколько мгновений, и нападавшие получили бы свинцовый гостинец по лопастям и бензобакам. Однако адмиралы категорически запретили применять оружие. А между тем воздушные пауки уже развернулись для атаки. Колобов лишь успел поднять руку, чтобы отдать команду к бою, как был сражён очередью из крупнокалиберного пулемёта. Второй вертолёт выпустил ракету, и капитанская рубка, а также часть палубы, как в замедленном кино, взлетели в бархатистое полуденное небо. Оставшиеся в живых матросы, как горох, посыпались за борта вздыбленного и тонущего судна. Иван удачно, даже не оцарапав ладоней, перепрыгнул в зеленоватую воду, ушёл с головой на глубину, и только поднял открытые глаза вверх, чтобы сориентироваться, что делать дальше, как вся поверхность над ним вспыхнула, а водная гладь закипела. Барражирующие над гибнущим тральщиком хищники обильно поливали напалмом море вокруг, выжигая всё живое.

Воздух в лёгких ещё оставался, и матрос, энергично раздвигая руками упругую воду, старался уйти вниз от пылающего полога залива. На миг в сознании мелькнула картинка из далёкого детства, когда он, ещё не умея плавать, упрямо переходил по дну таёжную речку Быструшку. Вспомнив это, Иван словно обрёл второе дыхание и уже осознанно стал искать глазами, где бы укрыться. Вода, хоть и была мутной и слоистой от высокой температуры, но матрос всё-таки сумел разглядеть в нескольких метрах перед собой слабые очертания чего-то похожего на сваи. Из последних сил парень сделал подводный рывок... Казалось, ещё секунда – и лёгкие лопнут, а широко раскрытые глаза выскочат из орбит, но вот он – спасительный пирс, развороченный взрывом и тлеющий, однако часть бамбукового настила цела, а между ней и поверхностью моря с десятков живительных сантиметров воздушного пространства. И самое главное, что с охотящихся за людьми американских вертолётов Ивана невозможно заметить!

Минут через десять над заливом всё стихло. Хищники, сытно и утробно урча, исчезли за стеной джунглей, будто их и не было в помине. Оно бы так, если бы не догорающий на воде напалм, искромсанный причал и задранная в небо корма

их тральщика с двумя обнажёнными винтами. Иван пронырнул из-под пирса метра на четыре в сторону на чистую воду, нащупал ногами дно и, пошатываясь, вышел на берег. Зорко огляделся, отмечая, как вдоль прибойной кромки в разных местах из моря выбираются на сушу его товарищи. Сосчитал, сколько их. Десять вместе с ним. А где же остальные?.. Но додумать парню помешало новое обстоятельство: по песчаной косе из джунглей к ним бежали маленькие вооружённые люди в широких конусных шляпах. «Друзья... Враги?» – мелькнула мысль. Иван быстро окинул взглядом вокруг себя в поисках чего-нибудь увесистей, чтобы защититься в случае чего. Словно угадав его опасения, ближайший к Ивану вьетнамец приостановился, одной рукой поднял над головой автомат Калашникова, а другой помахал приветливо. Иван с облегчением выдохнул и обессиленно махнул вьетнамцу в ответ.

Деревня, куда их привели, будто притаилась под гигантскими разлапистыми деревьями, названия которых Иван не знал, но сразу отнёсся к ним уважительно: под кроной каждого из них можно было бы укрыться целому взводу солдат.

– Баньян, – вьетнамец с вмятым носом, тот самый, что на побережье приветливо поднял автомат, заметив, как разглядывает пушистую крону этот светловолосый крепыш, похлопал дерево по гладкой коре и, доверчиво улыбнувшись, на ломаном русском добавил: – По-вашему – царское дерево.

Иван согласно кивнул и тут же без перехода:

– Меня, – парень постучал пальцами по своей груди, – зовут Иван. А тебя как? И где ты выучился так шпрыхать по-русски?

– Я – Нгуен! – вьетнамец приложил ладонь к сердцу. – Вы не первые здесь, кто русские... Вот и выучился.

– Отлично, Нгуен! А это – Рафик, – Иван указал на стоящего рядом и озирающегося вокруг Амирзянова. – Мой боевой товарищ и просто хороший парень!

– Брось, Ванюша, выступать, – смущённо усмехнулся Рафик. – Из твоей пламенной речи он и половины не понял, – говоря это, Амирзянов повернулся к вьетнамцу, поднёс ладонь к лицу и энергично сжал её в кулак, повторяя виденный в кино жест испанских республиканцев: «но пассаран – они не пройдут!».

В ответ вьетнамец тоже вскинул правую руку вверх, сжал в крепкий кулачок и потряс им над головой: «никогда не пройдут!».

Кормили матросов под продольным, усталым по крыше широкими листьями навесом, напомнившим Ивану их колхозный полевой стан. Молчаливые вьетнамки принесли в плетёных мисках отваренный рис и каждому по обжаренному куску какого-то, похожего на куриный окорочок, мяса. Оголодавшие матросы с аппетитом съели всё принесённое. Под навес зашёл Нгуен.

Иван сытно икнул и обратился к новому другу:

– Нгуен, а что это за мясо такое вкусное? Мы с ребятами думаем, что из курицы или гуся...

Вьетнамец отрицательно покачал головой, улыбнулся и, поднимая и опуская растопыренные ладони вверх и вниз, даже подпрыгнул, изображая что-то скачущее:

– Ля-гуш-ка!

Иван поперхнулся. Но тут же хватил воздуха полные лёгкие и, оборотясь к товарищам, усмехнулся:

– Что ж! Будем привыкать... Да, мужики?

– А что, есть другие предложения? – вразнобой откликнулись матросы. – Недохнуть же с голоду. Экзотика, мать её!

После обеда их отвели в штаб, широкое помещение с бамбуковыми стенами. Там пожилой суровый и сосредоточенный вьетнамец в наглухо застёгнутом военном френче и фуражке с лаковым козырьком и красным околышем обошёл каждого, внимательно осмотрел, пронзительно заглянул в глаза и вернулся за свой стол. Подозвал к себе Нгуена и что-то резко, как показалось морякам, сиплым голосом бросил тому в лицо.

Нгуен, вопреки ожиданиям, беспечно обернулся к стоящим вдоль стены матросам:

– Всё, осмотр закончен. Документов у вас нет – все сгорели. Командир Ван уже запросил советских, они сказали, что выясняют, кто вы... Поэтому вас пока разделят на две группы. Одна останется здесь, другая уйдёт на базу дальше в джунгли, – Нгуен опять растянул тонкие губы в улыбке: – Будете нам помогать.

Хваткий молодой ум и сообразительность помогли Ивану довольно быстро освоиться в непривычных для русского обстоятельствах. Спустя всего несколько дней он был своим в этой партизанской среде. Хижины – домами эти бамбуковые лабазы на сваях у парня назвать язык не поворачивался – были словно рассыпаны небрежной рукой под гигантскими деревьями; однако, когда Иван присмотрелся, то одобрительно покивал головой: ни один домик с неба, а именно оттуда исходила опасность воздушного налёта, нельзя было заметить. Как ни странно, но тропинок между хижинами тоже не существовало. Просто перед самым крыльечком у каждого домика из оборудованной и замаскированной сверху траншеи выныривала из земли узенькая тропка, прикрытая от алчных глаз американцев густой кроной.

Подземные ходы сообщения назвать добротными – это не сказать ничего. Они были само совершенство. Стены и потолки из плотно подогнанного бамбука, причём с потолка и в самый кромешный ливень не упадёт ни капли – так великолепно он проконопачен. Через специально приспособленные отдушины внутрь тускло проникал дневной свет. Его хватало, чтобы не сбиться с пути. Ходы не тесные. к примеру, двум таким здоровякам, как Иван, можно разминуться. Но даже не это поразило матроса больше всего, а хитроумные ловушки. Первое время, пока не обвыкся, Иван, как и другие матросы, в траншеи без подростка-проводника не спускался. Да и внимательные вьетнамцы этого бы ни за что не допустили, потому как абсолютно все подземные ходы были полны сюрпризов-ответвлений, заканчивающихся, как правило, неожиданными тупиками, в которых можно было запросто провалиться в яму и напороться на заострённые колышки, а то и угодить в силки или петлю, искусно свитые в лиановые верёвки из прочных рисовых стеблей.

Наблюдательный деревенский парень скоро подметил, что рис у приютивших вьетнамцев в повседневности на одном из почётных мест. Мало того, что он как у нас хлеб, так ещё и рисовые стебли широко используются в хозяйстве: из них мнут и вяжут верёвки, плетут циновки и удобные конусные шляпы. Местные умельцы из стеблей выплетают не только кухонную посуду, но и кувшины, вазы, причудливые подставки и многое другое, что радует глаз человека.

Ещё одну особенность отметил для себя Иван: ребятишки, начиная с восьми-девяти лет, уже умели обращаться с оружием. Конечно, АК-47 для малышей был тяжеловат, а вот пистолеты да и карабины в их руках не выглядели игрушками. К морякам эти ребята, но в большей степени ясельная и детсадовская малышня, относились очень дружелюбно. Детский садик тоже имелся в этой деревне, однако в целях предосторожности он был оборудован под землёй: хоть и невысокие, но просторные комнатки, отличная вентиляция, вместо кроваток – чистенькие циновки с мягкой постилкой, столовая.

В свободные минуты моряки где-нибудь под навесом выстрогивали детям из палочек маленьких человечков, из толстых веток мастерили лодки и кораблики, где парусами становились загнутые широкие листья. Когда плавучих средств набиралось с десятков, а это уже целый флот, на очищенном от водорослей берегу местного болотца устраивали с мальчишками морские сражения. Больше всех любил возиться с малышнёй Рафик Амирзянов, и дети к нему тоже льнули, ходили за ним гурьбой. Языком общения у них были в основном жесты. Однако смышлёным ребятишкам и этого хватало с верхом. Когда у людей душевная привязанность, то и слова необязательны.

3

Спустя неделю Иван впервые участвовал в боевой операции: минировании отдалённого Сайгоновского перешейка, по которому проходили три используемые американцами и сотрудничавшими с ними вьетнамцами тропы. Матрос и Нгуен вдвоём по извилистым подземным ходам прошли около восьми километров и с предосторожностью выбрались во влажную чащобу джунглей. Неутомимый Иван в корзинах через плечи нёс четыре мины. Каждая весом, как про себя прикинул парень, до семи килограммов.

– Ва-аня, – обратился к парню вьетнамец, срубая острым клинком толстый бамбук и очищая ствол от лишнего. – Скоро болото, давай за мной шаг в шаг. Бойся вот этих кустов, – Нгуен указал заострённым концом только что сработанного посоха на ветвистый кустарник, усыпанный мелкими шипами, резными листьями и с ярко-красными бутонами цветов в низких кронах. – Очень ядовит. Ужалит – в мученьях помрёшь.

Иван глянул и запомнил. Нгуен отступил в сторонку и принялся клинком с широким, чуть выгнутым лезвием прорубать в дебрях небольшой коридор. На невысоких кустистых деревьях, перевитых, скорее даже, удушенных свисающими лианами, восседали разноцветные и разнокалиберные попугаи и другие, похожие на сказочных жар-птиц, пернатые и во все глотки пели и трещали, да так громко, что хоть уши затыкай.

Иван пробирался след в след за идущим метрах в трёх впереди вьетнамцем и смотрел только в спину товарищу, когда каким-то шестым чувством почувал на себе чей-то ледяной взгляд. Мелкая дрожь пробежала по напряжённому телу, между лопаток потекла струйка холодного пота. Парень, словно повинуюсь чему-то, что мощнее его, замер на месте и начал медленно поворачивать голову влево, именно туда, откуда струились, обтекали и сковывали все его тугие мышцы невидимые пути. И тут же Иван почувствовал, как со спины вверх к шее поднимается тяжёлая, колючая волна, волосы на голове начали шевелиться, зато тело стало одновременно и лёгким, невесомым, и сильным, а ноги упругими и пружинистыми. Казалось,

оттолкнись – и улетишь высоко в небо! В глазах проступила необыкновенная ясность и твёрдость и ещё нечто такое, что сродни лучу рентгена.

И в этот миг он остановил свой взгляд на гигантской змее, что в трёх метрах от него пятнистыми кольцами обвила кривой ствол дерева, а гипнотические глаза её, широко расставленные на узорчато-толстой и приплюснутой голове, будто приказывали: «Иди ко мне, всё будет хорошо...». Однако от недавно накотившей вялости и покорности теперь не осталось и следа. Сейчас Иван сам, не мигая так смотрел на хозяина джунглей, испеляя змеиный гипноз, и посылал удаву такие потоки воли и решимости, что тот неожиданно раскрыл пасть, высунул раздвоенный язычок, повибрировал им в воздухе, зашипел и, втягивая приплюснутую голову в корпус, задом сполз с дерева и исчез в джунглях. Иван проводил его долгим взглядом и с облегчением выдохнул: «Ну, деда Зена, спасибо тебе, родненький ты мой! Выручил...».

– Ва-аня! Что случилось? – с тропы раздался голос вернувшегося вьетнамца.
– Ты почему отстал?

– Да так, Нгуен, замешкался чего-то, – Иван усмехнулся. – Залюбовался вашими красотами, – и уже тише, почти про себя чертыхнулся: – Будь они неладны!

С задания возвращались поутру на следующий день, сначала пробирались по болотным кочкам, хорошо видимым Нгуену. Иван ступал, как и было сказано накануне – след в след, а вот когда углубились в джунгли, парень раскрыл рот от удивления: вышли будто бы на ту же тропу, что вьетнамец прорубил вчера, однако она за ночь настолько заросла, что хоть бери клинок и опять срубай эти роскошные листья, кривые стволы и вьющиеся стебли.

За месяц жизни в партизанской деревне матросы обросли, парусиновая роба на них поизносилась, но ходить в ней можно. Кое-кто разжился у местных простенькими пиджачками, а некоторые и запахнутыми светлыми рубашками со свободными просторными рукавами и портками из неизвестной грубой ткани, плотными и прочными: ни один самый заострённый сук не прорвёт. Хорошо, что наши советские ботинки из серии «прощай, молодость» не знали износу, и не была им страшна ни болотная жижа, ни острые сколы камней в горах, а это великое дело – к деревянным или плетёным сандалиям и чуням, в которых резво передвигались вьетнамцы, русским ногам ох как непросто приспособиться!

К диковинной еде ребята тоже пообвыкли. Первое время тяжеловато переносилось полное отсутствие хлеба и вообще чего-нибудь испечённого из муки – всё это заменял рис. Зато к лягушкам и жабам, поджаренным на масле, привыкли быстро. Правда, здесь была своя особенность. Если крупную и мелкую лягушку аккуратно распотрошил и можно запекать, то с жабы, а они почти всегда были и увесистей, и жирней, сначала надо содрать шкуру – в обильных пупырышках мог быть яд, и после этой процедуры пропекай, сколько хочешь, без опаски отравиться. Не брезговали моряки змеями, кольчатыми щурами и дождевыми червями, которые лишь отдалённо напоминали наших, материковых, зато размерами и жирностью намного превосходили, и поэтому, выпотрошив, их так же, как и лягушек, обжаривали на масле. И получалось на вкус очень даже ничего. А разнокалиберных кузнечиков и прочих летающих насекомых так вообще жарили на металлических листах как семечки. Главное – привыкнуть, да и голод, как давно

и верно подмечено, не тётка. Но были в теперешней жизни забытых Родиной моряков периоды не только необходимые, но и приятные.

В местных илистых стоячих речках и озерах в избытке обитало длинных, толщиной в руку взрослого человека, змееподобных, с присосками рыб – миног. Однако на удочку они никак не откликались, сколько ни бросай её в воду с насаженным червяком или комочком варёного риса. Доброжелательные вьетнамцы наблюдали за пустыми походами азартного парня вдоль берега, да и показали Ивану, как просто ловить эту хитрую рыбу. Берёшь толстую бамбуковую палку от колена до колена, срезаешь один конец наискосок, второй ровно и, где прямой срез, прикрепляешь ящерку или мышку к поплавку-пробке. После этого втыкаешь косой конец в дно где-нибудь возле бережка в пруду. Минога, учуяв добычу, пролезает по бамбуковой полости к поплавку, а вот обратно вылезти уже не может. Всё, она твоя. Знатный ужин обеспечен.

В соседней деревне за двумя заросшими джунглями сопками, где Иван оказался по случаю, он в первый раз увидел четверых живых американцев. Оборванные, они сидели за бамбуковыми решётками в огромной клетке на сваях и, увидев белого человека, одновременно подскочили с пола и, вцепившись в решётку, радостно и просительно закричали: «Рашен, рашен!» Один из них просунул руку в щель и принялся махать ладонью, призывая Ивана подойти к ним. Матрос сжал зубы и отрицательно покачал чубатой головой. В глазах встал их разбомбленный тральщик, живые лица погибших командира и боевых товарищей. Парень с ненавистью посмотрел на этих потрёпанных янки и отошёл подальше от греха, краем глаза отметив, как слева по дорожке под покровом исполинского дерева к узилищу идут две вьетнамки с плетёными корзинками в руках. Он пригляделся. Одна из женщин осталась стоять на земле, другая взобралась по ступенькам к двери, откинула низ и просунула в клетку четыре миски с рисом. Обернулась к стоящей внизу, та протянула ей два кувшина с водой и четыре ломтя обжаренной миноги.

– Хорошо живут, барбосы! – невольно воскликнул Иван, обращаясь к помалкивающему рядом Нгуену. – Смотрю, кормите, как на убой?

– Они – пленные, – ровным голосом ответил вьетнамец. – А с пленными мы не воюем.

– А не боитесь, что сбегут?

– Куда? Амеры в джунглях не смогут и дня прожить. Кожа нежная, – Нгуен усмехнулся. – Напалмом жечь, бомбами сыпать с неба, из пушек стрелять – это они умеют. От ближнего боя уходят.

– Да-а, вояки хреновы... – Иван сплюнул себе под ноги.

– Ну, Ва-аня, всё, что надо, мы сделали, – вьетнамец сдержанно улыбнулся. – Пока светло, пора домой.

4

Прошли тропические ливни. Они так напитали джунгли сыростью, что в первый день после них Ивану и диск огромного, в бахроме лучей солнца, как ни странно, тоже виделся отопревшим и влажным, и было желание протянуть руку на небо и выжать его, как мокрую тряпку. Парень опустил глаза долу, подхватил лежащую рядом веточку и начал расчерчивать острым концом уголки, загогулины

и кружки на подсыхающем песке. Рафик Амирзянов с интересом заглянул через плечо друга. Он сидел тут же на коряге и, скинув с себя рубаху, загорал.

– Ванёк, поделись – что нарисовал, – Рафик провёл ладонью над песком. – Сколь не разглядываю, а угадать не могу...

– Да ничего особенного – это мысли мои разные.

– О чём, например?

– О том, что мы здесь уже почти полгода, а что будет с нами – никто не знает. Ты вот по-хорошему уже должен бы дембельнуться, а торчишь здесь. Я по всему теперь «годок», – Иван отшвырнул ветку в кусты. – Однако мы с тобой на сегодня одинаковые ремки и бичи – ни документов у нас, ни маломальского намёка: когда же всё прояснится? – парень поднялся с коряги, отряхнул штаны и с горечью закончил: – Видно, начальство, чтоб не заморачиваться, давно уж вычеркнуло нас из списков. Так им, умникам, там, наверху легче!

– Как у нас говорят, Ванёк: терпение и труд всё перетрут. Я думаю, всё скоро образуется, и мы обязательно вернёмся к себе в Петропавловск, – Рафик подхватил рубаху, но прежде чем надеть её, провёл рукой от мускулистого плеча до локтя. – Видишь, как я загорел? А помнишь, что на эсминце говорил ребятам: хочу, мол, приехать домой загорелым. Так что сбывается...

– Рафик, ты слышишь? – нервно перебил товарища Иван. – Вертолёты сюда летят! Бежим в укрытие, а то выдадим всех!

Матросов как ветром сдуло с полянки, над которой спустя каких-то пару минут пробарражировали две свистящие винтами мордатые машины. Расчёт на то, что эти хищники пролетят над деревней и, ничего не обнаружив, последуют дальше, не оправдался. То ли янки что-то разглядели под покровом джунглей, то ли местность показалась подозрительной, но они зашли повторно над пышно-зелёным пологом и обстреляли тропический лес и поляны ракетами.

Иван и Рафик под защитой гигантских деревьев почти достигли крайних хижин деревни, когда увидели, как одна из ракет угодила прямо в центр детского садика. Землю так потрянуло, что парни едва удержались на ногах. Взрыв взметнул ввысь и по сторонам вместе со щепками бамбука и землёй разорванные детские тельцы, оторванные ручки, ножки. Рафик Амирзянов дико закричал и, не помня себя, сорвался с места, подхватил прислонённую к пальме, забытую кем-то лопату и, размахивая ею, бросился наперерез заходящим на очередную атаку вертолётам. В следующие секунды Иван с побелевшим лицом зафиксировал лишь обрамлённое огнём тёмное облачно на том месте, где только что был его друг. Когда винтокрылые хищники развернулись и скрылись за кронами, и осела пыль от взрыва, Иван выбежал из укрытия и принялся искать Рафика. Но тщетно. Ничего от его друга не осталось.

С большими плетёными пузатыми корзинами подошли молчаливые вьетнамцы, скорбно откопали и подняли из развороченной, исковерканной взрывами земли все фрагменты погибших воспитателей и детей, бережно уложили и унесли на окраину, где поставили на приготовленные, сложенные своеобразным колодцем сухие дрова и, выполнив полагающийся в подобных случаях ритуал, корзины с останками сожгли. Ивану в какой-то миг, когда пронесли мимо него полные корзины, показалось, что в одной из них он среди горки изуродованных конечностей увидел загорелое предплечье друга, но мог и обознасться... Потрясённый матрос ещё долго молча наблюдал за происходящим. До конца этого дня он вообще больше не сказал ни слова.

И опять потекли бесконечные будни партизанской деревни. В те дни, когда не надо было выбираться с Нгуеном на минирование американских троп и дорог, Иван или рыбачил, или с ребяташками сбивал кокосы с пальм. Но всё основное время они с Нгуеном занимались закладкой мин. Однажды даже побывали в горах Вымпеня на ощетинившейся джунглями гряде, отделяющей Вьетнам от Лаоса, и там оставили «гостинцы» для стерегущих партизанские тропы янки с их приспешниками из местных. Как позже донесла разведка, на минах подорвались одиннадцать военных, среди которых оказалось шесть американцев. «Это вам, шакальё, за Рафика», – мстительно подумал Иван, навьючивая на плечи очередные четыре мины.

В джунглях Иван освоился. А что? Это та же тайга, только здесь чуточку опасней. Джунгли кишели змеями: кобрами, гюрзами, удавами и удавчиками. Встречались и знакомые с детства гадюки, правда, крупнее и агрессивнее родных, алтайских. А сколько тут ядовитых насекомых, взять тех же пауков и прочих мохнатых членистоногих! Растения, с виду такие привлекательные и яркие, на проверку оказывались ядовитыми и коварными: если сразу и не убьют острыми шипами, то так ожгут накопленной в чашечках влагой, что кожа долго не зарастает, как от напалма. Да и сам напалм... До службы Иван и слова-то такого не слыхивал ни разу, а здесь, считай, с первых минут столкнулся с ним. Проходили они с Нгуеном по мёртвым зонам, пролитым напалмом, как дождём. Всё серо, чёрно, пепельно. Оглушительная тишина давила на уши, дышать и то тяжело, едва ли не через раз получалось набрать в лёгкие отравленного воздуха. Вьетнамец поведал, что, мол, через год-два зоны эти зарастут, однако ни птиц, ни животных здесь уже не встретить. Всё вытравлено.

Однажды минёры, возвращаясь по горному хребту с задания, стали невольными свидетелями ковровых бомбардировок обширных площадей живописной долины, что раскинулась за скалистыми гребнями от их деревни, – там под кронами укрывались несколько вьетнамских селений. Четыре тяжёлых американских бомбардировщика с высоты пяти километров системно, друг за другом освобождались от смертоносного груза, который зловещей цепочкой спускался к земле, распадаясь на отдельные точки по мере приближения к джунглям.

– Подлюки! – ругался по-русски всегда сдержанный Нгуен. – Знают, что зениткам не достать, вот и бомбят, где хотят!

– А ваши самолёты? Они-то где?

– Ва-аия! Не видишь – их сколько! А у нас каждый истребитель на счету...

– А это-то что? Нгуен, смотри! – Иван радостно указал на три ракеты, что стремительно неслись от земли, с отдалённого склона к американским бомбардировщикам, оставляя за собой кольчатые следы дыма. – Гляди! Первый готов! Второй туда же! Ишь ты, на парашютах спасаются, амеры поганые! – От восторга парень чуть ли не захлопал в ладоши. – А ты говоришь – нечем бить! Видишь, и на этих Змеев Горынычей нашлась управа!

Вьетнамец скорее всего ничего не понял про змеев, но от счастья он сейчас даже пританцовывал, покачивая автоматом Калашникова над головой и что-то восторженно лопоча на своём языке.

Вернувшись в деревню, друзья словно попали на настоящий праздник. Весть о сбитых самолётах разносилась по джунглям, как на крыльях. Все говорили о

каких-то чудо-ракетах, которые привёз во Вьетнам дружественный Советский Союз. И теперь-то уж точно этим пакостникам-амерам будет несладко. Это потом уже спустя время Иван узнал, что гвоздили обнаглевших агрессоров только что поставленными во Вьетнам ракетами ЗРК-75 «Двина». А пока что их с Нгуеном провели под навес, где угостили рисовой водкой и свежениной из зарезанной по случаю праздника свиньи.

В самый разгар веселья на окраине деревни появилась необычная процессия. Трёх оборванных, в лётчицких комбинезонах американских дылд вели под конвоем мальчишки лет девяти-десяти. Каким-то необъяснимым образом эта забавная картина напомнила подвыпившему Ивану избушку табунщиков в белках, махонькую лайку Жучку и рассказ о том, как она на пару с лохматой товаркой, такой же с виду пигалицей, усаживала на задницу огромного медведя. И парень, ухмыльнувшись, счастливо покачал головой.

– Глянь, Нгуеша, янки-то насмерть перепуганы. Штаны – и то мокрые, – Иван указал рукой на выведенных на середину небольшой площадки под кроной баньяна пленных. – Ишь, как прячутся друг за дружку, «герои»!

Скоро перед американцами выросла толпа из ребятешек и женщин. Молодая худенькая вьетнамка быстро вышла вперёд, приблизилась почти вплотную к жавшимся один к другому рослым пленным, с ненавистью посмотрела им в глаза, слегка отшатнулась и плюнула каждому из них в лицо. Лётчики стояли, опустив руки по швам, и даже не пытались утереть заплёванные лбы и щёки. Женщина развернулась, люди расступились, и она неслышно пошла по направлению к своей хижине.

– В садике у неё остались два сына и дочка, – вздохнул Нгуен, провожая печальным взглядом уходящую вьетнамку.

– Что теперь с пленными делать-то станете?

– Вон сарай для свиней, – Нгуен кивнул в сторону маленького, взятого в бамбуковую решётку строения с низкой дверью. – Поживут там, пока не построим большую клетку.

– А ребята-то ваши, молодцы какие! Таких дуболомов оприходовали!

– Не они, так за ночь от амеров и косточек не осталось бы, – Нгуен усмехнулся: – Я ж говорил: кожа у янки сильно нежная, не для джунглей, – секунду помолчал и зло закончил: – Может, и не стоило мальчишкам их спасать...

В этот раз задание было не из лёгких. Чтобы попасть в нужное место за грядой экзотических сопков, нужно преодолеть трёхкилометровое топкое болото. Сделал неверный шаг – и вмиг засосёт эта бездонная прорва. Поэтому шли тихо и осторожно. С кочки на кочку, с островка на островок. Опытный Нгуен пройдёт сам, обернётся и внимательно проследит, куда ставит ногу напарник.

Мины привычно давили на плечи Ивану, на которых повыше ключиц уже были натёрты такие мозоли, что и пальцами не продавить. Кровососущие насекомые лезли в глаза, впивались в шею и щёки. Проведёт матрос ладонью по лицу, глянет, а она вся в крови от раздавленных комаров и мошек. Покачает головой, и снова – вперёд. Вот наконец-то, кажется, обозначилась суша со скалистыми зубьями утёсов, ещё один рывок – и можно вытянуться на твёрдой земельке во весь рост, чувствуя, как в сладкой истоме расслабляются мышцы. Иван видел, что Нгуену осталось сделать пару шагов, и он – на матёром берегу.

Тишину разорвал одиночный выстрел. Вьетнамец рухнул в болотную жижу; тело, с автоматом на груди, ушло под мутную воду, но тут же всплыло. Иван замер, ожидая, что следующий выстрел будет в него. Парень где-то читал или слышал, что в эти секунды перед глазами проносится вся жизнь, однако с ним ничего подобного не происходило. Просто было тупое ожидание, чего – он и сам не мог бы толком объяснить.

После выстрела Иван невольно оступился и теперь стоял по колена в грязной воде, мины давили на неподвижные плечи, погружая парня всё глубже и глубже. Вот он почувствовал, как подошвы ботинок упёрлись в плоское и твёрдое дно. «Уже хорошо, даже если и убьют, не затянет в трясину, – матрос кисло усмехнулся: – Хотя какая разница, где плавать... тебя-то уже не будет!»

Прошло минуты три, а выстрела всё не было. Ивану надоело стоять и смотреть в одну точку. Он повернул голову в правую сторону, скосил глаза налево, осмотрелся: где же всё-таки притаился стрелок? И тут из-за скалы метрах в пятнадцати от него поднялся чернокожий верзила с оптической винтовкой в одной и пятнистой каской в другой руке. На непокрытой голове вились чёрные колечки мелких кудрей. Снайпер ослепительно улыбнулся Ивану, показав ровный ряд белых зубов, помахал на прощание винтовкой, – хищно блеснула оптика: живи, мол, покуда, рашен! – нахлобучил на голову каску, перебрросил оружие за плечо и не спеша удалился за гряды.

Иван выбрался на берег, освободился от корзин с минами и вернулся в болото, чтобы вытащить на сушу убитого друга. Положил рядом с корзинами мокрый автомат, искал глазами какое-нибудь углубление или продольную ямку, где бы можно похоронить Нгуена. Метрах в десяти нашёл такое место, поднял тело на плечо и отнёс туда. Бережно уложив вьетнамца в углубление, натаскал от утёса мелких скальных пластин и закрыл ими могилу. Сходил на болото, надрал сырого дёрна и выложил бугорок. Постоял над ним, вздохнул, вернулся к корзинам. Подхватил их и, войдя по колена в болото, утопил все мины. Взял автомат, выловил плавающую в жиже длинную бамбуковую палку, и, опираясь на неё, наладился в обратный путь.

Темнело. Мало того что матрос дорогу сюда запомнил смутно, шёл-то ведь следом и больше глядел себе под ноги, чем по сторонам, так ещё и эти сумерки некстати. Одно вселяло надежду: с востока небо по кромке горизонта начало светлеть, значит, скоро выглянет луна и, конечно же, подсветит и это болото. А уходить надо немедленно, потому что вдруг этот негр американский передумает и вернётся завершить своё снайперское дело. Да и просто Ивану опостылело быть дичью для этих развязных парней. Дайте только выбраться, и мы ещё посмотрим, кто кого!

До утренней, такой нереально сказочной тропической зорьки проблуждал Иван по болоту, тыкая и ощупывая каждую кочку своим бамбуковым посохом, прежде чем ступить на эти зыбкие плавни. Оступался несчитанное количество раз, а дважды чуть не затянуло матроса в трясину, да вовремя успевал разбросить между ближайшими кочками палку и по ней, перебираясь, выкарабкаться. В деревню Иван пришёл к полудню. Командир Ван через переводчика сурово выслушал его, скупно похвалил за сбережённый АК-47, велел покормить и отправить отдыхать. Про мины Ван почему-то не спросил, а парню тоже было не до них – от смертельной усталости он валился с ног.

5

Прошёл ещё один месяц. За это время Иван с разными вьетнамцами-минёрами ходил на задания. Парня использовали как носильщика, но он и этому был рад. Закладка мин в тылу врага – дело само по себе стоящее, а если учитывать, что совсем недавно Иван потерял двух лучших друзей, и кровь прилиwała к вискам, когда он вспоминал о них, то всё вставало на свои места: парень жил мщением. Разведка с удовлетворением доносила командиру Вану, что ни одна закладка не пролежала впустую – американцы несли значительные потери. И чем больше потерь, тем больше отходило сердце моряка. Жизнь продолжалась.

Однажды боцман Митя Решетников, встретив Ивана у штаба, отвёл в сто-ронку:

– Ваня, у тебя как со временем?

– Полно свободного. На закладку только послезавтра...

– Тогда гульнём? Меня знакомый вьетнамец, торгаш, давно уже приглашает к себе на реку.

– А это где?

– Он говорит, километров шесть вниз по течению. У Бао и лодка есть, такая длинная пирога. Долетим с ветерком! А рисовой водки, говорит, валом.

Когда приставали к берегу, Иван охватил одним взглядом всё сразу: и добротную хижину на сваях, и бамбуковые сараи под деревьями, и своеобразную вышку-гнездо в развилке толстого баньяна с выглядывающим пулемётом Калашникова, и мальчонку лет двенадцати, бегущего со двора к ним навстречу. Бао первым выпрыгнул на мель, взялся за хлястик на носу и повёл лодку к берегу. Из-под навеса, где дымилась печка, вышла вьетнамка средних лет, и тоже направилась к ним, на ходу вытирая фартуком руки.

Только выпили по первой за мир и дружбу, как из-за деревьев послышался характерный шум винтов.

Моряки переглянулись:

– Опять винтокрылые гады!

– А мы, как назло, без оружия!

Над берегом навис мордастый раскрашенный вертолёт и выбросил вниз узловатую верёвочную лестницу, по которой один за другим спустились три американских солдата. Все белые и с первого взгляда крепкие. Оружия при них не видно. Едва коснувшись земли, янки огляделись и сразу заметили под навесом двух русских.

– О, рашен! Ол райт! Ми вас будем маленько бить! Ха-ха!

– А ребята-то под хмельком, – успел бросить боцману Иван перед тем, как амеры без всяких прелюдий набросились на моряков.

Солдаты удачи оказались не только крепкими, но и прыгучими. Вот один вознёсся вверх над Иваном и выбросил вперёд правую ногу в кованом ботинке. Не отклонись матрос корпусом чуть назад, точно бы вмял янки нос парню так, что и не достать. Но Иван не просто уклонился от воздушного пинка, но и вломил пролетающему мимо по затылку, да так, что тот приземлился мордой в песок. Худошавый Митя отбивался от своего противника железной клюкой, ею он вооружился ещё под навесом. И сейчас парень охаживал по бокам и голове с русыми вьющимися волосами второго американца. Третий крался к Ивану со спины, и уже готов был прыгнуть, но матрос вовремя заметил это, резко развер-

нулся, сделал выпад вперёд и так врезал солдату удачи в челюсть, что тот кулём рухнул наземь.

– Ванёк! Пока три ноль в нашу пользу, – чуть ослабив удары по упавшему на колени амеру, обернулся к Ивану Решетников. – Интересно, зачем они здесь?

– Да, наверное, за тем же, за чем и мы – за водкой. А может, хотели пограбить... Митька, берегись! У него нож!

На какое-то мгновенье отвлёкся боцман, а побитый янки уже поднялся, в руке блеснул боевой десантный нож. Митя обрушил сверху клюку на голову ослабившемуся амеру, однако тот успел полоснуть Решетникова по запястью, прежде чем оглоушенным свалиться под ноги боцману. Неизвестно, что бы случилось дальше, если бы не пулемётная очередь поверх голов дерущихся – это мальчонка палил с вышки, предупреждая всех внизу: шелохнетесь – убью! Очухавшиеся американцы, как попало отбиваясь от нападающих на них матросов, живо ретировались к вертолёту и по верёвочной лестнице стали лихорадочно забираться вверх. Машина начала медленно набирать высоту. Иван быстро подбежал, ухватил крайнего к земле янки за ногу, тот дёрнулся и повис на перекладине, однако изловчился и нанёс сокрушительный удар кованым каблуком армейского ботинка Ивану по голове. Парень разжал пальцы и в полусознательном состоянии сверзился на песок. Подскочил Решетников, зажимая левой рукой пораненное запястье.

– Ванёк, ты живой?

– Да, вроде... А ты весь в крови. Пырнули, что ли?

– Нет, руку зацепил.

– Вот и повоевали, ети его мать!

По прибытию вечером в деревню их срочно вызвали в штаб к командиру Вану. Всегда суровое и непроницаемое лицо Вана сейчас казалось ещё и озабоченным. Переводчик, молодой вьетнамец, учившийся несколько лет в Советском Союзе, наоборот, выглядел радостным. Он и сообщил морякам ошеломившее их известие.

– За вами пришёл корабль. На сборы сутки. Завтра в это же время вы должны быть на борту.

У Ивана, ожидавшего чего угодно, но только не этого, даже слёзы выступили на глазах. Он отвернулся к бамбуковой стене и смахнул их ладонью, отмечая про себя, что и боцман стоит с каким-то потеряннным, отсутствующим видом. И глаза почему-то тоже влажные...

Средний ракетный катер доставил моряков во Владивосток, где им были восстановлены сгоревшие матросские книжки, возвращены военные билеты, забранные при призыве, вручены предписания на бесплатный проезд на поездах до Гороховца. Через двое суток они уже ехали в плацкартном: на весь вагон – одни моряки из Вьетнама и сопровождающий их молодежавый особист в гражданке. Настроение почти у всех было если и не праздничное, то близкое к этому. Лишь Митя Решетников не находил себе места. Ходит неприкаянно по вагону, пристаёт то к одному, то к другому:

– Ну, где справедливость? Скажите, зачем мне тащиться десять суток куда-то на Волгу, когда мой дом – Владивосток? Там у меня мама, отец, братья. А я еду чуть ли не по дембелю – и на тебе! – подальше от дома... Ну, где же она – эта чёртова справедливость, мужики?

Часть третья ХОЛОДЯНКИ

1

– Митька, а ты не хочешь?..

– Да, не хочу.

– А чего не хочешь-то?

– Не знаю, чего, но знаю, что не хочу! Не мешай, Ванёк, спать. Всё обрыдло...

Иван лежал на нижней полке плацкарты, а Решетников на верхней. На откидном столике позвякивали на стыках рельс гранёные стаканы с недопитым чаем в высоких ажурных, с изогнутыми ручками подстаканниках. В окне проплывали желтеющие поля и перелески среднего Поволжья.

К вечеру боцман хорошо выспался и, опираясь руками на верхние полки, ловко прыгнул вниз, подхватил с постели вафельное полотенце и, что-то мурлыча себе под нос, отправился в умывальник. Оттуда парень вернулся в ещё более приподнятом настроении и подсел к поглядывающему в окно Ивану.

– Ванёк, так чего ты хотел-то?

– Я уж и не помню...

– А-а... Я бы тебя сейчас послушал. – Решетников тоже уставился в окно, помолчал, усмехнулся чему-то своему и выдал: – Нет, всё-таки правильный был тот мужик, который однажды изрёк: «Только сон приблизит нас к увольнению в запас!» Поспал и – как по новой родился.

– Везёт тебе. А я вот только ночью могу спать. Днём если прикорну хоть на часок – голова чугунная и ничегошеньки не варит!

Железная дорога обогнула утёс и вытянулась вдоль крутого берега Волги. Погромыхивали, закрывая солнце и бросая пятнистые тени в купе, встречные товарные составы и пассажирские поезда. В противоположном окне плескалась, играя солнечной волной, великая русская река. По ней буксиры тянули гружёные лесом и буртами песка широкие баржи. Иногда попадались белоснежные пятипалубные пароходы с изящными шлюпками по бортам.

– Ванёк, вот она жизнь! – указывая на всю эту красоту, восторженно восклицал Митька. – И мы в неё вернулись живыми! Я бы выпил!

– Так мы только вчера после Свердловска пару пузырей раздавили. Отдохнуть надо. А то и в санаторий не примут.

– Ванёк! Я ж не допьяна, а просто за Россию: едем двенадцатый день, и нет нашей Родине краю!

– За это б и я не отказался... Проводница сказала, что через два часа Сызрань, сто-янка сорок минут. Так что оформим. Но не больше одной. Сходи ты, только патрулю не попадись. И смотри, чтоб чекист наш не заметил. А то и ему наливать придётся...

– Замётано. Я вот что давно хочу спросить: у тебя одиннадцать классов или как?

– Восемь классов и курсы.

– На кого учился?

– Как на кого? На механизатора, конечно.

– А у меня полное среднее. После школы год отработал в порту, а осенью на флот призвали. Дембельнусь, попробую в институт морского транспорта у нас во Владике.

– Я тоже думал одиннадцать классов закончить, – Иван ухмыльнулся. – Да такая история вышла...

– Расскажи?

– А почему бы и нет...

Иван подхватил свою подушку и, пристроив в простенке, прилёг на неё спиной.

– В начале августа после восьмого поехал я в Секисовку сдавать документы в девятый класс, у нас-то в деревне только восьмилетка, а заодно и повидаться с двоюродным братом Сергунькой и определиться с жильём на время учёбы. Село большое, не то что наше Зимовьё. Новый клуб, танцы. Мне пятнадцать, а выгляжу на все восемнадцать. Уже и бриться начал: пушок прёт по скулам, как трава весной! У них свой гармонист наяривает. Я послушал, послушал, да и подошёл к нему: дай, дескать, сыграть цыганочку с выходом. Он покосился: откуда, мол, такой борзый? Сергуня ему: успокойся, Сашок, это брат мой зимовской. Гармонист ещё тот! И вот играю я, а глазами-то во все стороны: интересно же знать, как местные примут. Гляжу – расплясались. И девчата, и ребята. А одна деваха, такая вся из себя, платьице развеивается выше колен, каблучками дробит отбивает, а сама всё рядышком со мной. Другой раз так близко, едва косой моего чуба не касается. Я уж запах её волнительный вдыхаю, голова сладко закружилась. Передал гармонь хозяину: давай, мол, «Подгорную» да с перебором. Потом было медленное танго. Кружимся, разговариваем. Валя, так она представилась, сказала, что учится в институте, здесь на каникулах у бабушки. Я соврал, что тоже учусь, но на механизатора в техникуме. За танцами и не заметили, как все расходиться стали и завклуба громко объявил, что пора и честь знать. В тёплую звёздную ночь мы вышли с моей новой подружкой вдвоём. Я как бы невзначай положил руку ей на плечо, она ко мне так жарко прижалась, такая вся податливая, горячая. Короче, очнулись мы с ней на лужке под черёмухой на подстеленном моём пиджаке, когда уже светало, и трава вокруг вся холодная и мокрая от росы. Утром я спросил у брата: чья Валюша внучка? Он пожал плечами: мол, не знаю такой.

И вот первое сентября. Мы в классе. Я на задней парте. Заходит наша классная руководитель Ольга Степановна, и с ней ещё одна, в строгом костюме, косы убраны на затылке. Я сначала и не узнал, а пригляделся – весь пунцовый стал и голову наклонил к парте, прячась за спину впереди сидящего.

– Это Валентина Александровна – ваш новый учитель химии. Прошу любить и жаловать, – сказав это, Ольга Степановна покинула класс, а химичка раскрыла журнал и стала называть по списку фамилии. Ученики вставали, она кивала своей красивой головой, те садились. Дошла очередь до меня. Я встаю, красный как рак. Но насмелился, глаза поднял и поглядел на мою Валюшу. Она всмотрелась в меня, густо покраснела и, хватив побольше воздуха, резко бросила:

– Еланцев, выйди из класса вон! Чтоб духу твоего здесь не было!

Я подхватил сумку с учебниками и выскочил на улицу. Вот оно выходит как: оба понаврали друг другу тогда на танцах про себя, а теперь мне одному расхлёбывать! Химия у нас два раза в неделю. На следующем уроке она меня опять выгнала без всяких объяснений. И так всю первую четверть. По остальным предметам учился я неплохо. В журнале четвёрки и пятёрки, а по химии – чистые клетки. Значит, и оценки за четверть тоже нет. И вот после каникул вызывает меня директор Виктор Павлович Скрипченко. Там же в кабинете стоит и Валентина Александровна, вся в слезах.

– А ты фрукт, Еланцев! Она мне всё рассказала, – директор кивнул в сторону учительницы. – Решение моё простое: у нас таких учеников – балбесов хоть пруд пруди, а химичка одна. Поэтому я возьму тебя, Еланцев, образно говоря, за жабры – ты для школы пустое место. И мы сделаем так: я напишу бумагу директору Быструшинской школы Василию Геннадьевичу, чтобы тот принял тебя. У них тоже одиннадцатилетка. Да и оттуда до вашей деревни рукой подать. Так что вот тебе твои документы и – счастливого пути! Больше не задерживаю.

Хотя чего-то подобного я и ожидал, но чтобы вот так бесцеремонно меня выпереть – это было уж слишком. Я долгим взглядом смерил стоящую у окна мою ночную подружку, она так и не обернулась, а продолжала разглядывать что-то на школьном дворе. Развернулся и вышел в коридор, громко хлопнув дверью. Помнится, даже штукатурка посыпалась.

А в Быструшинской школе старшие классы переполнены. Тот директор давай тянуть волюнку: то да сё, приходи, мол, завтра, а то и послезавтра. Я побегал с неделю да плюнул и уехал с попуткой домой, где отец меня быстро определил на конюшню себе в помощники.

– Да, братишка, любовь – зла... А её-то хоть разок видел потом?

– Какой там! Если и приезжал к родне, школу обходил стороной. Хотя по первости было желание тайно пробраться в Секисовку, выманить Валюшу куда-нибудь на лужок да проделать с ней то же, что она сотворила со мной той ночью! Но как-то рассосалось...

– Вот такие мы, мужики, отходчивые. Не то что бабы!

– Я где-то читал, что мужчины живут головой, а женщины – сердцем.

– Всё верно. Однако мы имеем холодную голову, а у баб наоборот – ну, очень горячее сердце.

Решетников поднялся, взял свою подушку со второй полки и, бросив её к внешней стенке на нижнюю лавку напротив, с шумом растянулся на ней.

– Я бы ещё добавил, чем живут женщины, – боцман хитро улыбнулся, – ну, да ты сам всё знаешь...

Иван оторвался от подушки и перебрался опять к окну. Несколько минут смотрел на пробегающие мимо поля, лесопосадки, мелькающие деревеньки, потом повернулся к лежащему другу.

– Ты вот сказал про холодное сердце, а мне вдруг вспомнилось, как прадед мой женился.

– И как?..

– Было это ещё до революции, как говорится, при царе Горохе. В двенадцати верстах от нашего Зимовья, ближе к белкам, находилась деревня Черемшанка. А в ней жила одна ладная девушка по имени Мария, которую мой прадед Зена присмотрел, когда ездил туда на ярмарку. Сам дед Зена, сказывали, и смолоду был неказист: ростом не вышел, сухопарый, но ловкий, хваткий, умом изворотливый. Травы всякие, корешки знал. Змей умел заговаривать, каких и до смерти даже. Сам в детстве не раз видел. Так вот. Девица-то статная, красавица писаная, куда ему до неё. Пойдёт свататься, засмеют. А жениться шибко хочется, терпежу уж больше нет. Вот и удумал мой прадед сделать так, чтобы всё вроде и по закону вышло, но в его пользу. Взял себе в сообщники друга своего закадычного Сигнея Тимофеевича Худякова и ещё двух дружков зимовских. Украсили брички, нарядили лошадей да и погнали в Черемшанку свататься. Сигнею поручили играть

жениха, он высокий, косая сажень в плечах; а дед Зена вроде как дружка жениха, ну и, естественно, главный сват. Сговорились, по обычаю пропили невесту, назначили день венчания. И вот – храм, молодые с дружками встают перед аналоем. Она в белой фате, на Сигнее и моём прадеде почему-то одинаковая праздничная одежда, пошита будто из одного куска материи – не отличить. Оба, как и положено, рядом. Выходит из царских врат батюшка, чтобы приступить к обряду венчания. Невеста стоит, от смущения потупив взор. А деду Зене этого и надо! Пока батюшка спускается от иконостаса по ступеням, они быстро меняются местами с Сигнеем Тимофеевичем. Подмену жениха невеста обнаружила, только когда дед Зена надевал ей на безымянный палец золотое кольцо. Девушка точно упала бы без чувств, не подхвати её вовремя Сигней. Стоявшие вокруг люди сочли это добрым знаком: вишь ты, как любит, прям до бесчувствия! Прабабка пришла в себя – и в слёзы. А народ опять: вот это любовь дак любовь! Некоторые женщины вытирают платками глаза, хлюпают носами. Отец и мать невесты, когда пригляделись, – а в храме было и так-то свету мало, а тут ещё чад от десятков свечей, – так вот, когда они сквозь дымку наконец-то рассмотрели, с кем обвенчали ихнюю любимую доченьку, им стало дурно, но сделать-то уже ничегошеньки не сделаешь: всё по согласию, всё по закону. Дал, конечно, дед Зена после тестю и теще отступных, я ж говорил, он был умным и зажиточным. Прабабушка поплакала, порыдала да и родила ему двенадцать детей. Четверо умерли в младенчестве, а шестеро сыновей и две дочки выросли, и сами потом нарожали целую кучу потомков, среди которых и я – твой друг старший матрос Иван Еланцев.

– Однако у прадеда твоего голова не то, что холодная, а самая настоящая ледяная, – Решетников ухмыльнулся, и было не понять: то ли он осуждает поступок Зены, то ли одобряет. – Такое отчебучить не каждому под силу. Вот дедок так дедок! Он живой?

– Умер несколько лет назад. А прожил 98 лет. Бабка Марья – 90.

– У вас там, на Алтае, что – климат особенный? Я вот смотрю на тебя – тоже бугай ещё тот!

– Не знаю про климат, но старики многие до ста и больше жили, – Иван помолчал, вздохнул и продолжил: – Нам таких лет не видать...

– А почему?

– Когда старики жили, воздух и природа вокруг были чистыми, а теперь рудники – залежей в горах не меряно, золото и серебро тоже встречаются; для них нужны фабрики обогатительные, свинцовые и цинковые заводы. Вот их и понастроили – не пройти! И все дымят так, что хоть топор вешай. Наша деревня вроде и в сторонке, кругом тайга и сопки, но и к нам иногда заносит газ, да такой, что в горле першит и перехватывает.

– От прогресса, Ванёк, не убежишь и не отвертишься.

Митя сел на полке, потянулся, глянул в окно.

– А мы ведь уже в Сызрани! Всё, я побежал, – обернувшись, боцман озорно усмехнулся: – Не вернись – прошу считать меня... сам знаешь, кем!

2

Под городом Горьким отцепили их вагон от состава и загнали в тупик. Стоят день, другой, томятся, бездельничают. К закату второго дня на насыпи за открытым окном послышался какой-то шум, женские голоса. Матросы выглянули.

Две старушки с пузатыми корзинами, накрытыми тряпицами, шли вдоль вагона, оживлённо переговариваясь; заметив внимание к себе, они направились прямо к морякам, зазывая с сильным оканьем:

– Молоко-о! Молочко домашнее! Кто желает – с холодянками!

– Мы желаем!

Иван спрыгнул со ступеней на насыпь и скорым шагом подошёл к бабкам.

– Отведай, сынок! Не пожалеешь...

– Давай, бабуля, на двоих. Вон у меня товарищ из тамбура глядит. Мелочи хватит?

– Со всем удовольствием.

Шустрая старушка взяла копейки и протянула парню поочерёдно две полуторалитровые глиняные кринки с молоком. Иван одну передал Решетникову в тамбур, а вторую обнял ладонями, запрокинул голову и через край, большими глотками принялся опустошать поданную посуду. Когда отпил больше половины, ощутил губами, что будто бы кто-то внутри жидкости шевелится и даже ласково шлёпает его по губам. Парень не придал этому значения и продолжил пить – больно молочко вкусное и холодненькое!

– О-ёп! Тыфу ты, гадость какая! – раздалось у него над головой, и в следующую секунду на камешки, чуть ли не под ноги Ивану из тамбура вылетела и раскололась на мелкие кусочки кринка с недопитым Решетниковым молоком.

– Охти мношеньки! Холодянку-то мою решили! – запрочитала шустрая бабка, присаживаясь на, видимо, негнущиеся колени около мокрых осколков и что-то лихорадочно ища в них.

– Бабуля! Что ищешь? Тебе помочь?

Иван участливо склонился над старушкой, продолжая держать пальцами за край кринку с недопитым молоком.

– Сынок, где-то здесь холодянка моя запропастилась. У тебя-то глаза молодые, глянь?

– Да вот же какая-то лягушенция прыгает в камнях. Махонькая, зелёнькая!

– Она и есть! Сынок, не повреди! Дай мне её в руки... Слава тебе, Господи, живая, моя родимая!

– Бабка! Ты чем нас опоила? Я чуть не сблеванул! – держась за поручни, со ступеней вагона исходил благим матом боцман.

– Известно чем, Митька! – Ивана распирал смех. – Забыл что ли, сколь за эти восемь месяцев мы съели с тобой лягушек? Так те хоть крупные и жирные были. А эти что – проглотишь и не заметишь. Ты уж, бабушка, прости его: у мужика от безделья крыша поехала. На вот, бери и мою холодянку.

Иван протянул старушке пустую кринку с ползающей по дну лягушкой и захохотал, громко и заразительно, на всю насыпь – так, что из других открытых окон вагона повысовывались сослуживцы: что здесь у вас за цирковое представление? Иван лишь отмахнулся: всё, ребята, ладненько!

– Сынок, дозвожь полюбопытствовать: вы к нам надолго?

Видно было, что шустрая бабка пока что не думала никуда уходить, тогда как её товарки давно уже и след простыл.

– Не знаю, начальство молчит.

– А вы проездом аль по службе?

– В санаторий едем...

– Так это ж к нам. Он здесь один, в Гороховце. Знатное место. Рядом с нашей деревней.

– Значит, будем соседями. Может, когда и за молочком наведаюсь, только теперь уж, бабуля, без твоей холодянки. Оно бы вроде и ничего, да без привычки не очень...

– Ну, тогда прощевай покудова, парень. Побегу управляться.

Утром к платформе подъехал автобус и увёз моряков в старинный деревянный купеческий дом с мансардою, переделанный в советское время под санаторий для военных. В усадьбе плескался пруд, обставленный по облагороженным берегам скамьями, и зеленела высокими пышными кронами дубрава.

Спустя неделю доктор, пожилой мужчина с бородкой клинышком и залысинами выше лба, в очередной раз простукал, осмотрел Ивана и заключил:

– Ты, матрос, вполне здоровый, хоть сейчас в поход, – мужчина поправил пальцем пенсне, улыбнулся и, словно спохватившись, радостно вспомнил: – Да к тебе же родственники приехали!

– Какие такие родственники? – лицо у парня вытянулось в изумлении. – Откуда они узнали, где я есть? Больше полгода писем не писал. Неоткуда было...

– Да ты выгляни в окно, – всё так же радостно продолжал врач. – Они на больничном дворе тебя дожидаются.

Иван нерешительно к окну, а там стоит та самая шустрая старушка, рядом лошадь, запряжённая в бричку, за вожжами пожилая женщина.

– Ступай, парень, пока зовут, – доктор погасил улыбку. – Разрешаю погостить у родни две недели, так сказать, до полного выздоровления.

Бабуля, завидев выходящего из остеклённых дверей Ивана, весело окая, засемила навстречу.

– Доброго здоровьица, сыночек! – на сморщенном личике у неё как засветилась, так и не гасла приветливая улыбка. – Как ты ловко холодянку-то спас! Поехали в гости, сынок, отблагодарить надобно. Банька стоплена выстаивается. Тебя ждёт. А это, – бабушка кивнула на сидящую в бричке полную женщину лет сорока пяти, – доченька моя Шура.

От души напарившись в тесной, но жаркой баньке, Иван, накинув простынь на плечи и укутавшись в неё, выбрался на воздух охолонуться, присел на лавчонку под ракитой и огляделся. Избёнка ветхая, кособокая, камыш на крыше в дырах, плетень где есть, где нету. Голимая нищета... Лишь прополотые зелёные грядки и пашенка с отцветавшей картошкой на огороде да ряды яблонь с прогибающимися от спелых плодов ветками радовали глаз и приносили в душу парня неизъяснимую теплоту и повышали настроение.

Из дома вышла хозяйка с кринкой и глиняным стаканчиком в руках. «Неужели опять молоко с холодянкой», – мелькнула усмешливая мысль. И, будто угадав, бабка зачастила:

– Винцо-то, сыночек, пьёшь? Доброе зелье тебе несуд отведать, с яблочек наливных.

– Наливай, бабуля! После баньки да не выпить – себя не уважать.

Парень опрокинул стаканчик, одобрительно покрутил мокрой головой:

– Хороша, зараза! – и пока старушка наливала в подставленную посуду, спросил: – А что ж такое запустенье у вас? Как Мамай прошёл...

– Так мужика-то в доме нету. Одни мы с дочкой.

– Непорядок, бабушка.

И было не понять – это относится к отсутствию мужика или к самому порушенному хозяйству. Иван выпил вторую порцию, обтёр ладонью губы и по-мальчишески выдал:

– Обязуюсь, бабуля: недели за две всё сделаю так, что и комар носа не подточит!

– Да уж не шутишь ли ты, милой, – засомневалась старушка. – Винцо в голову ударило, а к завтраму выветрится, ты и позабудешь.

– Старший матрос Иван Еланцев слов на ветер не бросает! Лучше скажи: где инструмент? Сейчас обсохну, надену штаны и начну, – с пол-оборота закуражился подвыпивший парень.

– Начнёшь, начнёшь, тока завтра с утра. А куда ступай-ка, вздремни, тебе под навесом Шура постелила.

За десять дней Иван перекрыл свежим камышом крышу избы, поправил углы дома, отсыпал завалинку и почти закончил с плетнём. Его пришлось весь делать заново. Молчаливая Шура не успевала нарезать на болотце и привозить на телеге лозовых прутьев. Матрос забивал колья парами и заплетал между ними лозу, да так, чтобы шли в залом вершинки и комли. Теперь оставалось заплести калитку и – ограда готова.

Садилось за берёзовый колок солнышко, мычали в переулке возвращающиеся из сельского стада коровы. Завтра Яблочный Спас. Бабка с дочкой заняты переборкой собранных яблок: каждый сорт бережно укладывают в отдельную корзину и грузят на бричку. С утра запрягут лошадь и повезут в соседнее село в храм Пресвятой Богородицы освящать урожай.

– Ну как, моряк, хорошо гостится? – услышал Иван за спиной знакомый мужской голос. Обернулся. Ба, так это наш доктор, собственной персоной, только почему-то без пенсне... – А я проходил мимо, увидел. Как не поздороваться!

– Здравствуйте, товарищ военврач!

– И тебе доброго вечера, моряк! Да только ведь я не военврач, а простой гражданский доктор, – мужчина улыбнулся. – И живу-то я через два дома от твоей родни. Вон крашенная крыша – это моя.

– Товарищ врач, я ведь говорил уже: не родня они мне... – начал было Иван, но доктор решительным жестом остановил его.

– Самая что ни на есть родня, – мужчина загадочно ухмыльнулся и обвёл рукой всю усадьбу: – Разве кому чужому так делают? Ограды и дома просто не узнать! И не говори мне ничего, меня не проведёшь, – шутливо произнеся это, доктор вдруг стал серьёзным. – Я ведь не просто так, Иван, подошёл к тебе: кончился твой отпуск. Завтра в десять утра жду в санатории. Выписывают всю вашу группу, курс реабилитации завершён.

– Товарищ доктор, а можно один вопрос?

– Спрашивай.

– У вас с бабушкой насчёт меня была договорённость?

– Это как посмотреть... Но даже если и была, теперь-то что?

– Да так, ничего. Я просто вам хочу сказать спасибо от всей моей души! – у Ивана перехватило горло, глаза повлажнели и, чтобы скрыть это, парень усмехнулся: – Я ведь действительно как на курорте побывал. И это без всяких там шуток. Бабуля и её дочка Шура прямо как из нашей деревни, только вот сильно окают. Ну да я привык...

3

И опять Иван с ребятами слесарил, оснащая и доводя до ума, только теперь не боевой катер, как перед Вьетнамом, а морскую опреснительную пусковую установку ПУС-6, которую моряки ласково величали «корветом». Двадцать семь метров в длину, восемь – по верхней палубе в ширину. По бортам два опреснителя, на нижней палубе, в трюме, – паровой котёл на мазуте, четыре цистерны, по две на каждый борт, насосы, деферент – уравниватель, чтобы не случилось крена на какой-нибудь один борт и судно бы не перевернулось кверху днищем. Воду опресняли методом выгонки.

– Ну точно как аппарат у тётки Фешки, первой зимовской самогонщицы, – пошутил сообразительный Иван, как только ознакомился с особенностями выгонки пресной жидкости из морской воды. И добавил: – Только увеличенный раз в сто!

Ещё одним отличием от дальневосточных приготовлений было то, что работы проводились не на стапелях, а на реке Клязьме, в небольшой лагуне прямо на воде. В нескольких шагах на берегу брандвахта – помещение для слесарей-ремонтников, маляров, изолировщиков.

И вот судно готово к походу. Из Гороховца доставили понтоны, подвели по всему борту, и небольшой, но крепенький буксир потащил морскую установку из Клязьмы в Оку, из Оки в Волгу, а оттуда ПУС-6 уже своим ходом прошла до шлюзов. А там по рекам Шексне и Вытегре прямым ходом в Североморск, где, простояв на рейде до белых ночей, «корвет» отправился в Мурманск зимовать.

В конце июня следующего года караван из сотни разнокалиберных кораблей: сухогрузов, барж, нефтеналивных танкеров, буксиров и прочих морских посудин отправился из Мурманска по Северному морскому пути на восток. Возглавлял караван мощный ледокол «Илья Муромец». Ещё два ледокола: один ближе к середине, другой почти в хвосте – следовали в составе этой экспедиции.

Экипажу военных моряков с ПУС-6, можно сказать, повезло – их швартовым тросом, толщиной с кулак взрослого мужчины, прицепил «Илья Муромец» и на тридцатиметровом расстоянии тащил за собой. Лафа. Моторы заглушены, работают одна лишь обогревательная система да печь на камбузе у кока. Но вахты-то для военных никто не отменял! И вот здесь нужен был глаз да глаз: следить за тем, чтобы не произошло обледенения по бортам, когда на них почти каждую секунду с моря при порывах ветра сыплется ледяная пыльца, наращивая узорчатые бугры и сосульки. Приходилось вахтенному брать в руки пешню и лом и сбивать эти сказочные наросты. Хорошо хоть, предвидя такие случаи, командование выдало морякам канадки – тёплые меховые куртки, утеплённые краги. Вот тебе и северное лето!

Шли и по чистой воде, а больше через ледяные поля. Иной раз подгоняло такое обширное это самое поле, где толщина льда больше метра, – тогда мощный «Илья Муромец» подламывал его своей массой, давил, резал и крошил. Картина впечатляющая, как, впрочем, и та, когда они всей командой выскочили на палубу глядеть на трёх огромных усатых моржей, отдыхающих на осколке льдины метрах в тридцати мористее их каравана. Ярко светило солнце, и подсыхающая шкура лежащих млекопитающих по-рыбьи поблёскивала и переливалась. На людей и корабли моржи даже и не посмотрели.

При прохождении ледовых полей была одна напасть: невозможность уснуть от грохота и скрежета по металлическому корпусу ледовой крошки и кусков льда. При выходе каравана на чистую воду начиналась волна, летели брызги и ледяная пыль, и здесь другая напасть – обледенение «корвета». Вперёдсмотрящий в рубке мичман зорко следил за ледовой обстановкой, чтобы не было крена судна – это когда лёд на одном борту нарастал быстрее, чем на другом. Когда в кубрик по рации летела команда, экипаж – все матросы как один с ледорубами, ломами пожарными топорами, лопатами неслись наверх наружу.

Здесь-то и узнал Иван отличие льда из пресной воды от льда из морской, солёной. В деревне, бывало, скалывал лёд в проруби, ударил пешней раз – и огромный кусок отвалился, потому что хрупкий, а морской лёд вязок – бьёшь по нему, бьёшь, и хоть бы что. И потому приходилось всю эту наледь отколу-пывать по крошке. Занятие и нудное, и утомительное. И так изо дня в день не один месяц.

Отдохнули лишь в бухте Провидения, самой большой на Севере. Знаменитая бухта эта не только причудлива: она как гигантская бутылка с узким горлышком, но ещё и когда караван с моря прошёл в неё, то очутился в несказанной благодати – тишь да гладь, ни штормов тебе, ни опостылевших хуже горькой редьки льдов.

Спустя три месяца пути, осенью причалил их «корвет» в бухте Завойко. Перед отбытием в свою часть, чтобы оформить увольнение в запас и ехать домой на Алтай, получил Иван Еланцев, как и весь экипаж, от капитана ПУС-6 любопытный и трогательный документ:

Перед людьми и прочими жителями суши

У Д О С Т О В Е Р Я Ю :

*что старший матрос Еланцев И. Н. на борту ПУС-6
прошёл моря Северного Ледовитого океана: Баренцево, Карское,
Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово
и Тихий океан. Достиг северной широты 78 градусов 02 десятых
29 сентября 1966 года.*

И зачислен почётным жителем Арктики.

«В моих владениях всегда

Вам будет чистая вода».

НЕПТУН

Этот документ украшал шуточный рисунок – триптих: белый медведь на льдине, мощный ледокол в торосах и Нептун с трезубцем.

Искусственный лёд матово поблёскивал в лучах солнца, пробивающихся сюда, на хоккейную площадку, из-под остеклённого купола Дворца спорта. Иван с товарищем, Серёгой Проскуриным, жёсткими метёлками подчищали углы хоккейной коробки, на которой вчера вечером под рёв переполненных трибун встречались команды усть-каменогорского «Торпедо» и московского ЦСКА. В первом тайме земляки вели со счётом 2:1, во втором москвичи сравняли забитые шайбы. В третьем, за пять минут до конца игры, гости вышли вперёд.

Вот тогда-то Иван, болевший за родное «Торпедо», подскочил с места, а они с Серёгой сидели за коробкой на приставных стульчиках, подхватил неизвестно как оказавшийся на полу лоскут толстой капроновой сетки, из тех, которыми обтянуты хоккейные коробки вкруговую, во избежание того, чтобы вылетевшей шайбой случайно не зашибло кого из зрителей. В сердцах рванул её и разодрал эту прочную вервь пополам. У сидевшего рядом Серёги аж лицо вытянулось от изумления.

– Ванёк! Ты что – белены объелся? – в его голосе слышался неподдельный восторг с самой малой примесью страха. Он хохотнул: – Умеешь же ты госимущество портить!

– Да ведь продуют! – вяло отмахнулся от друга лоскутом сетки Иван. Поглядел на неё в своей ладони и отбросил к бордюру, бормоча про себя: – Вот опять не сдержался... Будь она неладна!

– Ловко, парень, ты её располосовал! – одобрительно раздалось у Ивана над головой.

Он обернулся. На ступенях в строгом чёрном костюме стоял не кто иной, как сам Александров, неоднократный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира по хоккею с шайбой, один из лучших игроков сборной Советского Союза. Прославленный хоккеист улыбался:

– А ещё раз сможешь? А то мы шайбой не умеем порвать, а ты руками. Слышал, парень, что-нибудь про знаменитый фирсовский щелчок – это когда скорость шайбы, брошенной моим другом, достигает чуть ли не девятисот км/ч в час. Почти сверхзвуковая. Так вот, сетка, что у тебя в руках, эту скорость гасит. Так сможешь или нет?

– Я вообще-то не пробовал, – покраснел от внимания Иван. – Но думаю – смогу.

– Найти тебя где можно? Да и звать-то как?

– Иваном, – видно было, что парень польщён. Поэтому он охотно пояснил спортсмену: – Мы с другом сюда от завода по шефской линии прикомандированы на месяц. Ещё неделя осталась.

– Завтра после обеда тут будешь?

– А где же ещё? Рабочий день до пяти.

– Тогда завтра и увидимся.

– Ладно.

– Ты, Ваня, кусок сетки достать сможешь? Ну, чтобы показать свою силу.

– Если надо, найду.

Иван смёл ледовую крошку и прочий мусор в совок, подозвал Серёгу с ведром, чтобы ссыпать туда. Пока ждал товарища, прикидывал. Осталось ещё разок пробежать по площадке, глянуть: всё ли прибрали, да и по всему домой пора уже. Время к пяти. Не пришёл Александров, ну и пусть. Он человек государственный, мало ли чего у него могло случиться. Да и мне лишний раз бахвалиться тоже ни к чему. Порвал да и порвал. Другие и не так умеют...

– А вот и наш герой! – гулко раздалось в пустом зале.

Иван повернул голову на голос. Из широких дверей служебного входа выходила группа подтянутых парней в синих спортивных трико и олимпийках.

– Здравствуй, богатырь!

– Здравствуйте!

Спортсмены с любопытством обступили Ивана. Вперёд вышел высокий и крепко сбитый парень с открытым добродушным лицом. «Сам Рогулин!» – узнал Иван знаменитого нашего не только хоккеиста, но и силача, не дающего спуску ни настырным чехам, ни наглым канадцам, ни прочим шведам. Те вроде шустрянут, изображая, что кинулись в драку на него и уж сейчас-то русскому точно не поздоровится! А Рогулин, огромный и одновременно лёгкий как пушинка, ловко извернётся, да и так прихлопнет противника к борту, что тот без чувств сползёт на лёд. Тут уж судьбы набегают, приводят рыпнувшегося наглеца в себя и под белы ручки уводят на скамью запасных. А к Рогулину и претензий-то нет: наш хоккеист действовал строго по правилам.

– Покажи, парень, что ты можешь? – доброжелательно обратился к Ивану Рогулин и обернулся к хоккеистам. – А то мы тут в сомнении...

Иван отошёл к борту, перегнулся и достал из-за него припрятанную заранее сетку сантиметров двадцать на тридцать. Вернулся и протянул её Рогулину.

– Нате, проверьте, чтобы всё было по-честному.

– А парень-то действительно серьёзный, – опять обернулся к товарищам Рогулин, помял в руках сетку, попробовал на разрыв и вернул Еланцеву. – Верим, браток, верим. Приступай.

Иван принял сетку, взял за края, перебрал, оставив лишь среднюю ячейку свободной, натянул между сжатых кулаков, собрался с силами и рванул руки в стороны.

– Во даёт! – вырвалось у кого-то из спортсменов. – Как будто бритвой полоснул!

Еланцев стоял, опустив руки, в каждой держа по обрывку сетки.

– Парень, у тебя ещё есть сетка?

Видно было, что Рогулин загорелся. Иван кивнул.

– Тащи! Тоже хочю испытать себя!

Однако сколько ни пытался знаменитый хоккеист и известный силач по примеру Ивана разорвать сетку, ничего у него не вышло. Обескураженный, он протянул стоящему рядом Еланцеву этот злополучный лоскут:

– Вишь ты, не поддаётся, зараза, – Рогулин усмехнулся: – Порви её, как Тузик грелку.

Что Иван и сделал к всеобщему одобрению обступивших его хоккеистов. На прощание спортсмены по очереди пожали парню руку, а Рогулин даже приобнял Ивана и, держа его крепкую ладонь в своей медвежьей лапе, с чувством сказал:

– Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь: никогда-то в нашей матушке России не переведутся богатыри. А тебе, Ваня, я желаю успехов по жизни и силу свою как попало не тратить. Она у тебя уникальная.

ЭПИЛОГ

Обычно жаркое июльское солнышко сегодня несколько пригасило свои щедрые лучи, будто бы жалея седебородого с льяной вьющейся шевелюрой старика, неспешно окашивающего маленькой косой траву между могильными оградками. Внутри оградок было прибрано ещё неделю тому назад. Да в них особо и убирать-то нечего: так, подрыхлил земельку между фиалок, лютиков и васильков,

поправил холмики. Тогда накануне прошёл ласковый дождик и принесённые ветром проклюнувшиеся семена полевого разнотравья поддавались легко.

А нетронутая в тот приход зелень за семь дней окрепла и налилась, не скоси сейчас, созреет, выбросит семечки в мир, и пусть бы их отнесло да хотя бы вон к тому склону, тогда бы и ладно – там коровы своими шершавыми языками быстро побреют всю полянку, так нет же, упадут прямо на могилки и прорастут, как на дрожжах. А кормилицы не упустят случая наведаться, кладбище-то не огорожено и самые бодливые из них запросто могут рогами что-нибудь поддеть да повредить, а уж про то, чтобы всё истоптать да оставить здесь свои лепёшки, – об этом можно и не говорить. Иван Никитич усмехнулся своим мыслям и продолжил работу.

Отцова могилка по времени самая молодая. Никита Иванович умер в 94 года в своём доме на кровати. До последней минуты он самостоятельно передвигался по избе, был в ясном уме и памяти, однако за полмесяца до этого случилось неприятное происшествие: Никита Иванович упал в сених и ушиб правый бок. Совпало, что воскресенье, и дочь Зоя угадала быть: спустя четверть часа приехала из Лениногорска поведать отца. Она сообщила Ивану, который к тому времени уже давно вышел на пенсию и опять вернулся в деревню, проработав не один десяток лет в городе кузнецом на ремонтном заводе, вот только жил теперь на другом, Зареченском, конце Зимовья.

Вдвоём они попеременно стали ночевать в доме и присматривать за отцом. В день смерти Никита Иванович утром попил чаю, от завтрака отказался, ушёл в горницу и прилёг. Когда через несколько минут Зоя заглянула к нему, отец уже не дышал. Лицо было спокойно, словно старик просто задремал.

У покоящейся неподалёку Анны Сергеевны могилка старше отцовой на полвека. На похороны матери матрос Иван Еланцев, как быстро ни летел, а не успел всего-то на несколько часов, хотя прибыл в тот же день, что был указан в телеграмме. Это случилось ещё до Вьетнама. Когда пришла скорбная весть, их эсминец находился в порту. Экипаж почти мигом, за какой-то час собрал нужные на авиабилет деньги. Однако с Камчатки до Алтая нет прямых рейсов. Летел на пассажирском лайнере через Хабаровск до Новосибирска, с пересадкой в Иркутске, а из Новосибирска до Усть-Каменогорска на грузовом, со спаренными крыльями АН-2, прозванном в народе «кукурузником». На эту медлительную авиатехнику его пристроил сердобольный начальник Новосибирского аэродрома, потому что в тот день в сторону Рудного Алтая ни пассажирских, да и никаких рейсов не было. Подвернулся этот воздушный работяга, летел из Омска, сел подзаправиться, вот и повезло парню. На попутке из областного центра в деревню добрался только к вечеру, спрыгнул из кузова, помахал рукой шофёру, да напрямик на кладбище к свежей могиле матери. Упал на колени, обнял руками сырой холмик, прижался лбом к некрашеному кресту, стиснул зубы. Слёз не было, но в глазах стояла глухая темень. Сел на землю рядышком, открыл походную сумку, вытащил бутылку белой, купленную в городе, сорвал пробку и, запрокинув чубатую голову, через горлышко вылил всю горькую жидкость в себя. И отбросил пустую бутылку в траву. До этого Иван не пил вообще ни разу после случая на пасеке у деда Андруна. Даже и на своих проводинах в армию к зелью не прикоснулся.

Скоро прибежали из деревни первой заплаканная сестрёнка Зоя, за ней подросший брат Юра, тяжёлым шагом подошёл отец, кое-кто из родни, односельчане. Обняли, увели домой. Причиной ранней смерти матери стало заражение

крови теми дробинками, до которых не смогла добраться деревенская ведунья. Захворала мать не сразу, а спустя несколько лет – видно, все эти годы копилось что-то, а потом разом взорвалось. Заболело в груди, стали таять силы. Дядя Роман трезвый ходил темнее ночи, а как выпьет, грозился руки на себя наложить... Во время отпуска Ивана дядька избегал встречи с племянником, да и матрос старался не глядеть в его сторону.

Однако не пришлось отчаиваюге Ромахе накладывать на себя рук, за него это сделал через тринадцать лет зять Степан, муж старшей дочери Ольги. На Масленицу гуляли они в тестевом доме, том самом, который Ромаха по пьянке когда-то пытался спалить. Вышли с зятем в сени покурить, да что-то не поделили. Ромаха и полез в драку. Степан, парень дюжий, характером смирный, взял да отмахнулся от тестя, да, наверное, сил-то не рассчитал. Тесть и полетел кубарем к ступеням, ведущим вниз, к дверям во двор. А ступени-то обледенелые. Всё недосуг было хозяину сбить грязноватые надолбы. Вот и поплатился за это жизнью, напоследок выбив головой закрытую на крючок дверь. Теперь вот полёживается через могилку от отцовою...

Иван окосил вокруг и между оградок, взял грабельки, сгрёб и отнёс душистую кошенину подальше от кладбища, свалил под кустом акации, может, какая из коров и полакомится, а нет, так перепреет сенцо, подкормит корешки кустарника. Вернулся, присел на скамейку, помолчал, послушал тишину, встал, трижды с поклоном перекрестился да и направился через лужок к кресту у дороги. Работа ведь не закончена.

Ежегодно примерно в такие же июльские дни он окашивал и вокруг поклонного креста, но делал это не оттого, что боялся, что крест забьёт дурбеем – нет в Сибири такой луговой травы, чтобы могла самостоятельно дотянуться вверх аж до пяти метров! – просто любил старик порядок во всём. Три прокоса по окружности, и совсем другой вид у поклонного креста: опрятный, основательный. Вот теперь можно и домой идти. Лёгким шагом, неся в одной руке косу, в другой грабельки, начал спускаться к шоссе. Ни автобусов, ни машин пока не проезжало. Это и само то: запах бензина и солярки после воздуха, насыщенного ароматами пихт и цветущего луга, не хотелось вдыхать. Однако радость Ивана Никитича оказалась преждевременной.

Он уже вышел на обочину пониже кирпичной остановки, когда на той стороне шоссе скрипнула тормозами никелированная иномарка. Старик остановился. Из автомобиля выбрались молодые мужчина и женщина. Были они, несмотря на жаркий день, в строгих светлых костюмах. Мужчина ещё и при галстукe.

– Дедушка, не подскажешь ли: далеко до Лениногорска?

– Километров сорок, – Никитич улыбнулся в бороду. – Спрашиваете-то почему? По всей дороге указатели расставлены.

– Мы впервые в ваших краях, – вступила в разговор женщина. – Едем на горно-обогатительный комбинат. Указатели могут быть и устаревшими. Да и нам не до рассматриваний.

– Дорога непростая, – это уже мужчина. – Дальше-то как? Тоже серпантины?

– Проедете вон ту загогулину, подниметесь в гору, съедете вниз, будет деревня...

Иван Никитич перевёл дыхание, чтобы продолжить, вот тут-то его и ободрало, мурашки пробежали по спине, а глаза едва не полезли на лоб. Пока он объяснял,

задняя дверца иномарки открылась, и на шоссе вырос верзила негр в белоснежном костюме, как две капли воды похожий на того самого снайпера, который не стал стрелять в Ивана на вьетнамском болоте. Был он всё так же высок и так же, как в тот далёкий год, чрезвычайно молод.

Негр потянулся, с интересом огляделся вокруг и, заметив, как этот доисторический старикан с какими-то ископаемыми орудиями труда смотрит на него, ослепительно улыбнулся, показав безупречный ряд белых зубов, и, подняв руку, приветливо помахал чёрно-матовой ладонью. Никитичу кольнула в глаза лучом пойманного солнца алмазная запонка на манжете. Старик пришёл в себя.

– Ол, райт! Рашен дэдушка! – решил показать знание русского негр.

– И тебе, негр, не хворать, – как можно громче и бодрее решил ответить Никитич и поймал боковым зрением, как мгновенно изменились лица женщины и особенно мужчины.

– Дед! – чуть ли не криком остановил Никитича побледневший мужчина. – В Америке давно уже нет негров! Наш спутник – афроамериканец! Ты хоть понимаешь, старик, что ты себе позволяешь?

– А мне, парень, и понимать нечего, – Иван Никитич чувствовал, как у него наливаются кровью вены на шее. – Я у себя дома! И никакую шуштуру я в жизни не обслуживал! Ты это понял, молокосос? И я вас сюда не звал! Валите-ка отсюда подобру-поздорову! – старик усмехнулся и скопился на косу в руке, опущенную лезвием вниз. – Могу и костюмы попортить...

Пока шла эта перепалка, молодой афроамериканец недоумённо крутил своей чёрной, в колечках мелких кудрей головой от одного к другому, затем повернулся к женщине и что-то резко и повелительно спросил. Миловидное лицо переводчицы пошло пятнами, и она начала что-то сбивчиво, видимо, подбирая каждое слово, говорить, – как понял Никитич, оправдываться перед этой большой шишкой из Америки. Старик покачал седой головой, вздохнул, переложил в одну руку инструменты, вскинул их на плечо да и пошёл по обочине вверх по шоссе, чтобы у остановки перейти его по «зебре», а там уже и до избы недалёко.

В алтайских синих небесах, обрамлённых таёжными кряжами, завис навежившийся в тенёчке да испивший сладкой родниковой водички жаворонок. И волнами потекла над деревней Зимовьё его звонкая переливчатая песня, такая знакомая и каждый раз такая новая, но всегда такая пронзительно-родная. Иван Никитич отыскал глазами эту птаху и улыбнулся: «Приду домой, отдохну, да ближе к вечеру истоплю-ка я баньку».

Март – 26 ноября 2019 года

Рудный Алтай

